



Рождественские  
истории

с неожиданным финалом

Серия «Рождественский подарок»

Рождественский подарок

Сборник

**Рождественские истории  
с неожиданным финалом**

«Никея»

2023

УДК 821.161.1  
ББК 84

## **Сборник**

Рождественские истории с неожиданным финалом / Сборник —  
«Никея», 2023 — (Рождественский подарок)

ISBN 978-5-907628-53-3

В этой книге собраны рождественские рассказы русских писателей, и многие имена станут открытием для читателей, потому что их публикации остались лишь в дореволюционных журналах. Но звучат они очень современно! Истории, описания образны и кинематографичны, часто имеют непредсказуемый поворот сюжета и неожиданный финал. Читателей ждет увлекательное чтение со смыслами, такую книгу приятно дарить и радостно получить в подарок к Новому году и Рождеству.

УДК 821.161.1

ББК 84

ISBN 978-5-907628-53-3

© Сборник, 2023  
© Никея, 2023

## Содержание

Фаддей Булгарин (1789–1859)	6
Мои недостатки, или Исправление с Нового года	6
Е. Бернет[2](1810–1864)	9
Черный гость	9
Михаил Авдеев (1821–1876)	27
Огненный змей	27
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Рождественские истории с неожиданным финалом

Серия «Рождественский подарок»

Авдеев М.  
Арсеньев А.  
Бажин Н.  
Балобанова Е.  
Бернет Е.  
Борисов И.  
Булгарин Ф.  
Воронов М.  
Гнедич П.  
Желиховская В.  
Забытый О.

**НИКЕЯ** 

© ООО ТД «Никея», 2023

## Фаддей Булгарин (1789–1859)

### Мои недостатки, или Исправление с Нового года

Воля ваша, любезные читатели, а мы, то есть люди, имеем много неизъяснимых странностей и противоречий. Например, мы все желаем лучшего, уверены, что только прямым и честным путем можно достигнуть его, а между тем сворачиваем частенько на проселочные тропинки и, пробираясь ползком, замурив глаза, думаем, что нас никто не видит, все мы замечаем недостатки ближних и обнаруживаем оные, в намерении истребить дурное и тем принести пользу обществу, а между тем гораздо было бы лучше, если б мы сперва обратили внимание на себя и с себя начали всеобщее исправление нравов.

Другое дело, если кто не видит своих недостатков, а таких счастливых множество, но те, которые видят и чувствуют свои слабости, столь же редко исправляются, как и первые, невзирая на пламенное желание сделаться лучшими, на клятвы и на обещания. Вот я, например, пятьдесят лет сряду ложусь спать накануне Нового года с твердым намерением исправиться, przygotowляю тетрадку для записывания всех моих поступков, чтобы этим средством избежать дурного, начертываю план моего поведения, экономии, будущих трудов и занятий, и все это исчезает, как дым, в конце января! Рассуждая об этом хладнокровно в продолжение пятидесяти лет, я удостоверился, что главными препятствиями к исправлению суть лень, которою снабжен с избытком самый деятельный человек; легкомыслие, которое найдет всегда уголок в голове самой основательной; и, наконец, лесть, которою люди привыкли потчевать друг друга, как табаком, не думая о следствиях.

Сказанное должно подкрепить примерами, а то добрые люди не поверят мне. Но с чего начать? Выказывать чужие недостатки весьма опасно, даже в общем виде, никого не касаясь, ибо найдутся всегда благоприятели, которые сделают применение к лицу даже в Басне или в Комедии и услужливо растолкуют то, о чем Автор и не думал. Правда, явно никто не возьмет на свой счет никакой сатирической черты, ибо каждый, при людях, похож на Климыча:

Про взятки Климычу читают,  
А он украдкою кивает на Петра.

*И. А. Крылов*

Но не должно предполагать, будто этот Климыч так прост, что не чувствует своей вины, и будто он не знает, что другие люди в праве кивать так же на него, как он на Петра. Нет! Боковой карман Климыча в это время ежится и колет его в сердце, и он не упустит случая отплатить вам тою же монетою. И так, для избежания этого колотья, я намерен исчислить свои собственные недостатки и в пятидесятый раз в жизни предпринять трудный подвиг исправления.

В детстве я не хотел ничему учиться, но, имея хорошую память, вытвердил наизусть без труда несколько басенок и французских стишков по усильной просьбе моей матери и за многочисленные подарки. Можно сказать, что у меня купили несколько часов прилежания. При гостях родители мои заставляли меня всегда декламировать; похвалы и удивление сыпались со всех сторон, потому что отец мой занимал важное место и жил торовато. В целом городе меня провозгласили гением. Добрые приятели и приятельницы советовали родителям не принуждать меня учиться, потому что это заглушает способности детей, рожденных с необыкновенными талантами. Родители мои следовали сим благим советам и платили исправно учителям, которые подписывали мне самые лучшие аттестаты, чтоб не потерять своего места. Я между тем рос, толстел, ничему не учился, проказил, шалил и мучил всех в доме. Все это приписыв-

вали моему гению, порывам моих талантов. Правду сказать, дядя мой частенько говорил моим родителям, что я неуч, повеса и негодяй, но его не слушали и приписывали это зависти и желчному его характеру. По-французски я выучился поневоле, потому что это был господствующий язык в нашем доме, но выучился так, что до сих пор не умею написать двух строк. Зато в танцевальном искусстве я превзошел многих из моих сверстников, ибо я любил танцевать и ронять моих кузин и воспитанниц моей матери. Воспитание мое кончилось, и я в семнадцать лет вошел в свет, не зная ничего, кроме дюжины названий наук и стольких же технических выражений. Но как я на балах и вечерах играл не последнюю роль и знал наизусть все французские комплименты, то я прослыл хорошо воспитанным малым, un jeune homme comme il faut<sup>1</sup>. Теперь я чувствую в полной мере, что я невежа, и с Нового года стану учиться.

Не будучи в состоянии блистать умом, познаниями, заслугами, а желая обратить на себя внимание, я сделался щеголем в возмужалых летах. Я свел знакомство с молодыми людьми богатых фамилий и со всеми старыми ветренниками; одевался как куколка; комнаты убирал, как первостепенная кокетка; экипажи мои отличались в целом городе вкусом и богатством. Я давал завтраки, ужины и концерты, вошел в долги и верно бы разорился, если б не получил наследства после тетушки. Теперь я перестал мотать, но не научился порядку: не умею в срок платить долгов, не умею обойтись без них и никак не могу сравнить расхода с приходом. Часто отказываю себе в необходимом, а еще чаще трачу деньги на бесполезное, и даже вредное, машинально, по какому-то внутреннему влечению. Накануне каждого Нового года я завожу счетные книги и распределяю годовой расход, а в начале нового года забываю, откладываю до будущего дня и к другому Новому году снова доживаю с долгами и дефицитом в моих финансах.

Но теперь я намерен исправиться и с Нового года издерживать не более прихода: есть устрицы и пить шампанское только на чужой счет, обедать почаще в гостях, платить долги, не играть в вист на большие суммы, не ездить туда, где существуют вечные домашние лотереи и подписки; не исполнять никаких комиссий для иногородних моих родственников и приятелей иначе как на наличные деньги – одним словом, я переменю совершенно мой образ жизни с Нового года.

По службе я весьма часто отлагаю дела до завтра, не помышляя о нетерпении бедных просителей. Запершись в моем кабинете, я отдыхаю или читаю романы и велю сказывать у дверей, что я занимаюсь важными делами. В представлениях к награде моих подчиненных я так искусно иногда хвалю их, что все их усердие и способности относятся всегда ко мне. Это очень нехорошо, и я намерен не откладывать до завтра того, что можно сделать сегодня, не заставить слугу моего лгать перед просителями; моих подчиненных рекомендовать по достоинству, невзирая на связи и покровительства. Все это я начну с Нового года.

Мне кажется, что я вовсе не завистлив, однако ж успехи моих знакомых и приятелей в делах и по службе заставляют меня, как бы невольно, сравнивать их с собою, и преимущество, разумеется, остается всегда на моей стороне. Мне кажется, будто одно стечение счастливых обстоятельств, а отнюдь не личные достоинства моих знакомых, споспешествовало их благополучию и возвышению, и я, разбирая их поведение, взвешивая слова, делая догадки об их образе мыслей, нахожу в них много недостатков, и при случае, в кругу добрых приятелей, говорю весьма невыгодно об отсутствующих, думая возвысить тем собственные достоинства. Это несколько походит на злословие, а потому я вознамерился с Нового года не говорить ни о ком дурно за глаза, по одним догадкам и предположениям.

Иногда, в досаде, в гнев, нельзя удержаться, чтоб не пожаловаться на приятеля или на родственника. Кажется, будто сердцу легче, когда выльешь из него досаду или неудовольствие. Мне весьма неприятно, когда люди, пользуясь минутою слабости и сердечного излияния, сказанное в минуту страсти берут за умысел, переносят весте, или, как твердит пословица, выно-

---

<sup>1</sup> Молодой человек, как подобает (*фр.*)

сят сор из избы. Невзирая на это, когда меня кто обласкает, то я, желая показать ему мое усердие и преданность, иногда объявляю под секретом, что такой-то говорил о нем дурно. От того происходят фамильные ссоры и холодность между приятелями, которые, без этого средства, позабыли бы о небольших взаимных неудовольствиях. Это очень дурная привычка и походит на сплетни, а потому я с Нового года намерен более не пересказывать и не переносить вестей.

Я не люблю, когда при мне говорят дурно о старших, ропщут и критикуют различные меры. Но иногда досада, иногда самолюбие, а чаще эгоизм, вводят меня в подобные заблуждения. «Если б я был на месте такого-то, я бы сделал то-то», – говорю я громко, а думаю про себя, потому, что это было бы лучше для меня. «На место такого-то определил бы такого-то!» – восклицаю я с самонадеянием на свою проницательность и, прикрывая такой выбор желанием общей пользы, скрываю тщательно, что при таком-то я надеюсь больших для себя выгод. Не правда ли, любезные читатели, что это дурно? Итак, я намерен исправиться с Нового года.

В молодости моей казалось мне, что каждая женщина, которая не принимает изъявления моих нежностей, имеет дурной вкус и что сердце ее занято. Теперь каждая женщина, предпочитающая беседу молодого образованного человека моему обществу, кажется мне дурно воспитанной и кокеткой. Я чувствую свою несправедливость и обещаю думать иначе с Нового года.

Я люблю занимать деньги, а не могу терпеть, когда кто просит у меня займы. Кто просит у меня денег, того я называю ветреным, мотом и т. п., а кто мне не даст займы, того я величаю скупым, эгоистом, хитрецом. В этом нет ни толку, ни справедливости, итак, я намерен исправиться: помогать честным людям в нужде и не просить займы на прихоти – все это я начну с Нового года.

Я почти в каждой чужой статье вижу недостатки, а не люблю, когда мне доказывают мои ошибки. Всех критиков моих я называю завистниками, не оправдываюсь на их замечания и вместо ответа стараюсь найти ошибки у моих противников, как будто мне от этого будет легче. Кто скажет, что мой стих дурен, того я почитаю своим врагом и поступаю с ним, как с моим злодеем.

Ах, это дурно, любезные читатели! С Нового года я не буду сердиться из-за критики, буду пользоваться справедливыми замечаниями, не буду рыться в прошлогодних изданиях журналов, чтоб отыскать мнимые их ошибки, не стану приводить в моих ответах ложные ссылки – и все это я начну с Нового года.

Я еще не исчислил десятой доли моих недостатков и уверен, что мои читатели уже сожалеют о моих слабостях и благодарят Судьбу, что они не имеют их. Охотно им верю и желаю этого, а между тем прошу каждого положить руку на сердце и, сознавшись со мною, хотя и не публично, в своих недостатках, начать исправление с Нового года.

## Е. Бернет<sup>2</sup>(1810–1864)

### Черный гость

#### I

Сильный стук в дверь прихожей заставил Ивана Ивановича Росникова болезненно вздрогнуть. Не мудрено: поздняя пора ночи, размышления в тиши и одиночестве, несколько чашек крепкого чая, опорожненные им одна за другою в продолжение вечера, чад от сигар, которых он превратил в дым и пепел целую дюжину, повергли его в какое-то неестественное, напряженное, раздражительное состояние. Жилы на висках его бились, сердце мучительно трепетало, а воображение было настроено к восприятию чего-то неожиданного и странного.

Иван Иванович хотел было кликнуть своего слугу, чтоб приказать ему справиться о причине стука, но слуга его, Герасим, так громко храпел в кухне, что не подавал никакой надежды на возможность скорого пробуждения. Подумав немного, Росников решился идти в переднюю сам.

– Кто там? – спросил он нетвердым голосом, положив руку на железный крючок, замыкающий дверь.

Ответа не было.

Он намеревался уже воротиться в свой кабинет, полагая, что ему почудился стук, как над самую его голову раздался такой пронзительный, настойчивый звон колокольчика, что Иван Иванович вздрогнул сильнее прежнего, торопливо сбросил крюк и отворил дверь в сени: прежде, нежели успел он оглянуться, скользнуло оттуда, вместе с морозным ветром, что-то высокое и черное, шаркнуло по темной гостинной и скрылось в кабинете.

Захлопнув наскоро дверь, Иван Иванович бросился опрометью вслед за странным явлением. В кабинете, в облаках табачного дыма, на одном из кресел расположился уже капуцин в черной маске. Хотя бесчисленные складки плотного, блистающего атласа и висели на широких и сухих плечах его, словно кардинальская мантия на вешалке, но, говоря правду, прекрасный черный цвет его удивительно гармонировал с желтою шерстяною материею кресел, и вообще положение капуцина было так небрежно и грациозно, перчатки его так удачно обнаруживали стройную, продолговатую руку, острый носик и клинообразная борода маскировали такое веселое, ироническое выражение, что на этого гостя нельзя было довольно налюбоваться.

– Что за мистификация? – спросил Иван Иванович, став перед капуцином.

– Никакой, – отвечал тот, подняв голову и устремив на хозяина живые, сверкающие глаза. – Сегодня маскарад, и я замаскирован.

– Но, милостивый государь, – возразил Росников сухо (голос гостя показался ему совершенно незнакомым), – здесь моя квартира, а не зала Дворянского собрания.

– Я сейчас оттуда. Стечение публики необыкновенное. Очень весело. У выхода такая давка, что я не мог дожидаться шубы и прибежал сюда вот в этом таларе<sup>3</sup> и без шляпы. Хорошо, что ваша квартира почти подле, иначе я мог бы схватить простуду. Скажите, пожалуйста, отчего вы не в маскараде?

– Скажите мне лучше ваше имя, – произнес Иван Иванович прежним тоном.

---

<sup>2</sup> *Е. Бернет* — псевдоним, наст. имя Александр Кириллович Жуковский.

<sup>3</sup> *Талар* (лат. *tunica talaris* – платье длиной до пят) – так в старину в Западной Европе называлось одеяние католического духовенства, а затем и одежда протестантских пасторов, судей и др. Талар всегда был черного цвета.

– К чему это? Я ведь не пришел занимать у вас денег, свататься за вашу кузину или представляться вашей жене, да у вас и нет ничего подобного. Особенно потому, что вы холосты, приглашаю вас в маскарад и ручаюсь вам в занимательности нынешней ночи. Поспешим. Уже первый час в исходе. Время дорого: не издерживайте его на пустые вопросы.

– Помилуйте! – отвечал с досадою Росников. – Если б я, против своих привычек, и имел хотя малейшее желание быть сегодня в маскараде, то пока окончу туалет...

– ...маскарад кончится, – подхватил гость. – Поэтому и по многим другим причинам вы наденете домино и маску.

– У меня их нет, – возразил Иван Иванович, желая чем-нибудь отделаться, – а будить старого моего Герасима и посылать за ними из пустой прихоти не соглашусь я ни за что в свете.

Он не договорил еще этих слов, как находчивый гость прыгнул, словно кошка, с кресел, вмиг сбросил с себя черную свою мантию и начал ее надевать на Ивана Ивановича.

– Этот костюм сшит будто нарочно для вас, – лепетал он скороговоркою, застегивая крючки и завязывая ленты.

Ивана Ивановича особенно удивило то, что на безотвязном приглашателе в маскарад оказался другой капуцин, но уже фиолетового цвета.

– Я сегодня не брился, – начал опять Росников, все еще упорствуя, как бы остаться дома. – Я ни за что без маски не поеду.

В одно мгновение гость сорвал с себя маску и, очутясь в другой, ярко-огненного цвета, подал первую Росникову.

– Что за чудеса, – вскрикнул он, – на вас еще маска!

– У каждого из нас их несколько. Впрочем, мысль эта стара и вполне развита другими – не стоит распространяться. Лучше позвольте помочь вам.

Тут проворно приложил он к лицу Ивана Ивановича черную личину, дернул сзади шнурок, и она облепила его щеки так плотно, как знаменитая историческая железная маска.

– Но я, право, еще не решился, ехать мне или нет, – повторял в раздумье Росников, дергая атласную свою бороду.

– Решитесь после, а теперь – в путь! – возразил веселый капуцин. – Позвольте вам предложить дружеский совет: действуйте в эту ночь как можно смелее и самостоятельнее, отложив на время поэтические мечты о добрых и злых гениях. Ваш средний рост, тонкий стан, данное вам при крещении имя составляют общую принадлежность многих в столице. Все это очень счастливая и забавная случайность.

Вероятно, вам хорошо известна история о великом раввине?

– О каком раввине?

– О том, который был так мудр, что на все вопросы давал только один ответ: гм! Вы меня понимаете?

– Нисколько.

– Поймете после, а теперь зовите поскорее своего лакея, чтоб он запер за нами дверь.

Пробужденный несколько раз повторенным криком или стуком в стену кухни, старый Герасим чуть не умер от страха при виде двух незнакомых господ в странном наряде, одного с черною, а другого с пунцовой рожею. Ивану Ивановичу удалось наконец кое-как растолковать ему, что это он и что тут бояться совершенно нечего. Тем не менее робко и неприязненно поглядывал Герасим на гостя, подавая своему барину енотовую шубу, шляпу и калоши, а когда оба они переступили порог, хлопнул он изо всей силы дверью и, сказав: «Наше место свято!» – направился в кухню, где и заснул крепче прежнего.

– Ваш человек, – начал капуцин, быстро схватив Росникова под руку и гигантски шагая по занесенному снегом тротуару, – ваш человек принял меня... не знаю, за кого... Вероятно, за того же неистощимого проказника, который любит загнать в чистое поле оставленную у ворот ухарскую тройку, между тем как молодой купчик, хозяин лихих рысаков, жеманно приглашает

горожанок прокатиться с ним; который любит утащить маленький башмачок, брошенный во время ворожбы за ворота, и отозваться именем постылого человека сентиментальной барышне на спрос: «Как вас зовут?»; который любит поужинать в холодной бане с красавицей, что в полночь ожидает там суженого, и после замахнуть на нее тупым ножом или скорчить, из-за плеч вдовы, в тусклое зеркало чудовищную, уморительную харю. Я не говорю уже о помеле, которое подставляет он всякий раз, когда льстивая старуха хочет поцеловать впотьмах бородастого своего мужа, или об углях, насыпаемых им в карман волостного писаря взамен добытых лихоимством гривенников. Я согласен, что все это ведет за собою подчас странное недоразумение, смешную тревогу или забавную ссору, но зато уж никак не более. Словом, существенного бедствия от всего этого ожидать никак нельзя.

При этих словах вошли они в швейцарскую, где Иван Иванович едва мог упробить официанта, чтоб он принял от него шубу, калоши и шляпу на сохранение, потому что ни места, ни номеров уже не было.

Поднимаясь по устланной коврами лестнице, Иван Иванович запутался в своем широком костюме и чуть было не упал; это заставило его сильно опереться на руку своего спутника.

– Касайтесь сегодня, – шепнул ему тот на ухо, – как можно легче до руки тех масок, с которыми будете ходить. Вы знаете причуду этой предосторожности?

– Нимало.

– После узнаете.

Тут капуцин остановился, чтоб отдать билеты стоящему у входа швейцару, а Росников между тем вошел в залу.

## II

Будто нарочно, гармонический оркестр Лядова<sup>4</sup> приветствовал появление Ивана Ивановича оглушительным tutti<sup>5</sup> своих инструментов, с которым сливались шарканье, говор, и хохот, и пищанье масок. Непроходимая их толпа, стеснившаяся у входа, в одно мгновение сжала его со всех сторон, как бы желая попробовать, крепки ли его члены; она двигала его за собою вправо и влево, вперед и назад до тех пор, пока не вышвырнула в спасительный промежуток двух колонн. Здесь Росников успел перевести дух и кинул беглый взгляд на то, что его окружало.

В удушливой, влажной от тысячи дыханий атмосфере носился вверху легкий, голубоватый, прозрачный дымок, в котором блистали, словно бесчисленные группы звездочек, яркие огни люстр; преломляясь в кристалльных подвесках, поражали они странным образом зрение своим радужным, изменчивым светом.

Большая часть замаскированных, хотя и были они закутаны с головы до ног, держалась стен и с непонятным наслаждением жалась к углам и выходам, где менее света и более давки, между тем как середина залы оставалась почти пустою. Поэтическое воображение Росникова тотчас заподозрило в этом роковые тайны, драматические сцены и страстные переговоры, но сколько ни напрягал он любопытствующего слуха, однако ж не успел уловить, даже в самых темных и сокровенных убежищах, ничего, кроме очень обыкновенной фразы: «Я тебя знаю, прекрасная маска» – или тому подобного, для чего, казалось бы, вовсе не было нужно прибегать к таинственности.

---

<sup>4</sup> Александр Николаевич Лядов (1818–1871) – дирижер балетов в Александрийском театре и капельмейстер придворных балов, представитель музыкальной династии Лядовых-Антиповых-Помазанских, давших России на протяжении двух столетий около 20 музыкантов.

<sup>5</sup> Музыкальный термин, исполнение музыки полным составом оркестра или хора (*т.т.*).

Несмотря на безжизненное однообразие и томительную пустоту разговора, сопровождающие дам кавалеры казались необыкновенно веселыми и совершенно увлеченными обаятельной прелестью маскарада; многие из них просто хохотали во все горло, предаваясь вполне счастливому, детскому самозабвению.

Как ни было великолепно и любопытно подобное зрелище, но Иван Иванович вскоре почувствовал нестерпимую скуку, которую даже и самый Лядов не мог разогнать очаровательными звуками своих мелодий. Облекая все черным цветом печального настроения своей души, не понимал он причины слышимого им со всех сторон нервического хохота и, в простоте своего безыскусственного сердца, приписал его наконец излишнему расположению к щекотливости, которым страдали бедные молодые люди, толкаемые беспрестанно с обоих боков. Между ними уже отыскивал он глазами своего спутника в пунцовой личине, намереваясь дать ему порядочный нагоняй за то, что он притащил его в маскарад и отвлек тем от обычного сна, во время которого пригрезилось бы ему что-нибудь отраднее теперешних явлений. Тут заметил он черное креповое домино, которое, прислонясь к колонне, пристально на него смотрело.

Со своей стороны Иван Иванович тоже уставил глаза на замаскированную незнакомку. Страшная бледность лица, резко просвечивающая сквозь нижнюю кружевную половинку маски, фосфорический блеск взглядов, исхудалый, но стройный стан, упрямое безмолвие и продолжительная неподвижность посреди общего говора и беготни придавали ей фантастический образ какого-то неземного видения. Росников оторопел и не двигался с места, будто околдованный.

Незнакомка, все еще не спуская с него глаз, медленно согнула опущенную к земле руку и подала ему букет камелий. Взволнованный до крайности, Иван Иванович приблизился и молча взял цветы. Тогда левая рука незнакомки упала в сгиб его правой руки, и они пошли в смежные комнаты, не говоря ни слова.

По временам загадочная маска судорожно вздрагивала и подавляла в груди чуть слышимый вздох; по временам озиралась она с какою-то ненавистью и страхом на суетливую толпу. Иван Иванович не смел перевести дыхания, боясь, чтоб его призрачная спутница не улетела вверх или не провалилась сквозь землю. Вещее его сердце смутно отгадывало, что это поэтическое явление предстало пред ним только на одну минуту и никогда уже более не повторится, что эта сладостная тень, окруженная магнетическим блеском обманутой любви, сокрушенных надежд, неисцелимой скорби и безвыходного отчаяния, скоро совсем исчезнет, оставя в душе его одно грустное воспоминание, смешанное с сомнением в действительности того, что он теперь видит.

Переходя из комнаты в комнату, достигли они до отдаленного кабинета, куда немногие знали вход. Здесь, у ярко блестящей стенной лампы, таинственная незнакомка вдруг оставила руку Ивана Ивановича и, став перед ним лицом клицу, спросила проникающим в сердце голосом:

– Жан, помнишь ли ты наше прошедшее?

От этих магических звуков, в которых так и дрожали слезы, так и отзывался горький вопль погибшей страсти, обдало Росникова пламенем.

– Прекрасная маска, – отвечал он восторженным тоном, – довольно слышать одно твое слово, чтоб не забыть тебя до могилы!

Как ни была удивительна эта фраза, но прелесть ее осталась совершенно потерянной для незнакомки, потому что она, при первых звуках голоса Ивана Ивановича, с ужасом отпрянула в сторону, бросилась как стрела вон из кабинета и исчезла в темном потоке масок.

– Вот тебе раз! – произнес с удивлением и горестью Росников. – Стало быть, эта загадочная дама приняла меня за кого-нибудь другого! Ведь в столице ровно столько же Жанов, сколько Иванов, а их не перечтешь и до рассвета! Прав глубокомысленный раввин, который отвечал на все вопросы одною многозначительною частицею: «Гм!» Да и не чудак ли я, в самом

деле? Какая женщина будет говорить со мною о прошедшем? Разве я не знаю, что у меня нет прошедшего?

### III

– У меня нет прошедшего, – повторил он, более и более поддаваясь мрачному расположению своего духа. – Изжив двадцать семь лет, не сохранил я ни одного драгоценного воспоминания, не имел ни одной минуты, которую бы пожелал воротить сегодня! Я вращаюсь среди людей пунша, преферанса, мелких интриг и площадных анекдотов! Я не помню ни одной радости, над которой бы сам после не смеялся...

Каждый заметит, что Иван Иванович в этом монологе преувеличивал тягость своего жребия; с другой стороны, надобно сказать правду, что круг его знакомых далеко был ниже того общества, на которое имел он право по своим знаниям, приличным манерам и очень замечательной наружности. Самые денежные его средства, состоящие в тысяче рублях серебром – процентах с наследственного капитала, подстрекали в нем недовольство настоящим его положением. Другой бы на его месте всякий день благодарил Бога за то, что дарованы ему возможность удовлетворять первым житейским потребностям и маленькое ограждение от натиска фортуны, но Росников томился, как запертый в клетке. Блажь эта свойственна многим.

При всем избытке способностей, обогащенных основательным образованием, осуществлению его намерений постоянно препятствовал недостаток родства в столице. Особенно же были для него губительны врожденная застенчивость, слишком мягкий нрав и отсутствие практического смысла, когда этот смысл требовался в жизни.

Если тревожный ум Росникова волновался разными предположениями, то и сердце его, в свою очередь, не могло похвалиться спокойствием. С давнего времени жаждал он любви, но бедный молодой человек и в этом встретил неудачу, огорчение и тому подобные осечки. Ошибаются те, которые думают, что в делах такого рода можно обойтись без расчета, хитростей, сноровок, уловок и других мелких стратегий, чуждых и ненавистных благородной душе. После этого легко понять, отчего Иван Иванович не имел успеха там, где бы он должен иметь успех по праву любящего, готового на все пожертвования, сердца.

В эпоху первого своего дебюта в столице проводил он вечера по воскресеньям у г-жи Кадарской, очень доброй старушки, которая ласкала Ивана Ивановича как сына своего старого знакомого и земляка. Кадарская жила в прекрасном собственном доме близ Большого театра; все ее попечения и думы, все надежды и опасения сосредоточивались на сироте-внучке, только что вышедшей из пансиона и не успевшей еще явиться в свете. С первого раза Иван Иванович до безумия влюбился в шестнадцатилетнюю Аннунциату – так называл он Анну Петровну. Сначала дело шло как нельзя лучше. Они вместе занимались музыкой, читали стихи, рисовали цветы и головки. Но вот минуло Аннунциате семнадцать лет, и тогда все повернулось вверх дном. Бог знает откуда набежали блистательные молодые львы, один другого ловчее, остроумнее и смелее. Бедный Росников незаметно очутился сначала на втором плане, а потом передвинулся на последний. Не имея средств сопровождать предмет своего тайного обожания на все вечера, балы, концерты и спектакли, он нечувствительно отдалялся от Аннунциаты более и более, стал реже ездить к Кадарским, а когда убедился, что его отсутствия не замечают, – прекратил и вовсе свои посещения. Через несколько месяцев увидел он из газет, что Кадарские едут в Гельсингфорс; в час отплытия парохода прискакал он на Английскую набережную, рассыпался в извинениях, уверяя, что продолжительная болезнь и занятия по службе сделали его невежливым пред знакомыми; по крайней мере, теперь долгом он для себя почел пожелать им в день отъезда счастливого пути. Анна Петровна едва его узнала и поблагодарила вскользь за память о них.

Несмотря на это, провожая глазами пенящий воды пароход, Иван Иванович давал себе обещание бывать у Кадарских как можно чаще, если только они благополучно и в свое время воротятся в столицу. Как же страшно замерло в нем сердце, когда, спустя три месяца, один из его товарищей ошеломил его вестью, что Анна Петровна вышла в Гельсингфорсе замуж, и сделала удивительную партию! Вмиг почувствовал он глубокое отвращение к жизни, смертельную ненависть к похитителю своего идеала. Потеряв смысл и сознание, он уже не слушал и не хотел знать, с испанским ли грандом, с русским ли князем или с немецким бароном сочеталась изменница; ему это было решительно все равно, он желал только одного: чтобы карающие волны поглотили преступных на возвратном пути. Однако ж ничего подобного не случилось. Молодые благополучно прибыли в Петербург и поселились в том же самом доме, где Росников увидел в первый раз незабвенную Аннунциату, а умерла менее всех виновная бабушка, вероятно, с радости, что устроила наконец счастье своей внучке. И действительно, это супружество казалось целому свету самым счастливым, муж – красавец, с значением в свете, богат и умен; жена – влюблена беспредельно в своего мужа.

С тех пор Иван Иванович сделался еще меланхоличнее прежнего и ровно три года не приближался к Большому театру, боясь мучительных воспоминаний и встречи с Анной Петровной. Тем не менее его нежное сердце сохранило в себе глубоко запавшее чувство. Только это чувство с годами переработалось, просветлело и преобразовалось. Брожение страсти, дикие порывы ревности и досады улеглись и остыли, остался один самый тонкий аромат любви. В отрадные часы мечтаний представлялась ему Аннунциата точно такую, какую видел он ее в прежние счастливые дни: тот же высокий, едва развившийся стан; те же сапфирные очи, та же детская улыбка. Даже милый этот образ являлся ему в сновидении и однажды сказал шепотом: «Не грусти, я всегда с тобой».

Под наитием таких странных экзальтаций, Иван Иванович начал приписывать всякую возвышенную мысль, каждый великодушный подвиг свой влиянию своего идеала. Отсюда уже легко понять, отчего он называл Анну Петровну добрым гением.

#### IV

Что касается до злого гения, то им сделалась для Росникова Амелия Фрезиль, цветочница. Знакомый ему молодой человек, родственник Амелии, затащил его однажды к этой сопернице Флоры. Сначала Иван Иванович пошел просто от нечего делать, а потом захотел ближе узнать и подметить характер знаменитой модистки. Но прежде нежели успел он что-нибудь изучить, был он сам вполне изучен и проучен.

Мадам Фрезиль имела великолепный магазин. Редкое богатое семейство в столице не обращалось к ней с заказами; Иван же Иванович, наоборот, принимал от нее сам заказы: достать билет в ложу Михайловского театра или в кресла итальянской оперы, добыть молодецкую тройку, чтоб ехать на загородный пикник, прислать карету для прогулки в Парголово и тому подобное.

Здесь надобно заметить, что в случае неисправности Ивана Ивановича в исполнении таких лестных поручений беззаботная француженка никогда не сердилась: она или обращалась с ними к другим молодым людям, или находила какое-нибудь иное развлечение, или оставалась дома и от всего сердца возилась со своими цветами и мастерицами.

Сам не зная как, Росников привык ее видеть почти каждый день. Ему нравилось ее бесцеремонное обращение, исполненное самых неожиданных, самых странных выходов, сквозь которые, однако ж, всегда проглядывали такт приличия и какая-то внешняя светская грациозность; ему полюбились ее звонкий смех, ее легкие остроты и неистощимые каламбуры, сменяемые вдруг куплетом водевиля, пропетого серебристым и верным голоском. Даже самая жажда общественных удовольствий и развлечений, ненасытная потребность пикников, маскарадов,

спектаклей и балов – без всякой цели, с одним намерением устать, закружиться и ошалеть к безумному вихре забавы, – даже и это нравилось Ивану Ивановичу, как противоположность его задумчивому и грустному характеру.

Часто, когда вертлявая парижанка собиралась на какой-нибудь танцевальный вечер, погруженный в мягкие кресла Росников присутствовал, с видом знатока и педанта, при окончательном ее туалете. «Monsieur Jean, – говорила она, вдруг оставя зеркало, – посмотрите, какие у меня волосы!» Тут, вытащив из головы шпильки и гребенки, исчезала она до пояса в богатой россыпи кудрей. «А вот моя рука!» – продолжала она через несколько минут, поднося к самому его носу маленькую, благовонную, пухлую, с ямочками кисть, которую Иван Иванович тут же целовал с медленной важностью. «Ну а мое платье? Хорошо ли сделано мое платье?» – спрашивала она потом, поворачиваясь к Росникову спиной и представляя его взорам охваченную корсетом талию и розовые локотки обнаженных рук.

Амелия была говорлива и с тем вместе скрытна, откровенна и лукава, добра и расчетлива, вспльчива, как порох, но без малейшей желчи и злопамятства. Она терпеть не могла лжи, но также и не высказывала всей правды. Побуждаемая легким, веселым и неугомонным своим нравом, она находила удовольствие в беспрестанных сношениях с особами разных классов общества и не щадила стараний на услуги, очень редко увлекаясь в этом случае одними корыстными видами. Только к дамам, которые делали ей заказы, питала она какую-то скрытую ненависть. Оттого ли, что род ее ремесла совершенно зависел от их прихотливой, не всегда справедливой, оценки, или потому, что они часто обращались холодно и небрежно с артисткою (Амелия высоко ценила свое искусство и называла себя не иначе как «артисткою»), но только злая француженка не пропускала случая подметить в них что-нибудь странное или смешное.

Само собою разумеется, что ее замечания Иван Иванович не оставлял без горячих возражений, которые, в свою очередь, Амелия опровергала новыми парадоксами. Это развивало спор, который нередко длился между ними до полуночи. Тогда Амелия подавала Ивану Ивановичу шляпу и, указывая пальцем на дверь, произносила скороговоркою:

– Мосье Росник, ступайте вон! Я спать хочу.

Надобно сказать правду, что, несмотря на очень невысокую степень образования цветочницы, Иван Иванович находил в откровенной беседе с мадам Фрезиль очень много веселых минут. Но под луною ничего нет постоянного, говорит допотопная пословица. С некоторых пор Амелия начала реже и реже принимать его. Только что просунет он голову в двери ее комнаты, как озабоченная чем-то парижанка стрелою бросится к нему навстречу и, отодвигая тихонько его назад, залепечет:

– Время нет, время нет! Ступайте, ступайте!

Однажды, часов в десять утра, увидел он у ее подъезда прекрасную маленькую карету. Любопытный Иван Иванович позвонил у дверей магазина. Вышла очень стройная, очень бледная мастерица.

– Мадам Фрезиль никак не может теперь принять вас, – сказала она томным голосом, делая разные медленные движения гибким и высоким своим станом, – у ней теперь одна очень знатная дама; у ней теперь заказов столько, что ужаси!

Росников воротился домой в самом скверном расположении духа и дал себе слово при первом же случае иметь с Амелией подробное объяснение. Недели две был для него вход в магазин недоступен, наконец удалось-таки ему попасть в комнаты Фрезиль. Она очень внимательно занималась работою и очень дружелюбно сказала обычное приветствие: «Добрый день, мосье Жан!»

Но мосье Жан был на этот раз просто нелюбезный, озлобленный Иван Иванович. Не отвечая на учтивость, грубо кинул он шляпу на стол и шлепнулся в кресла без всякого приглашения со стороны хозяйки. Такое новое обращение удивило и оскорбило гордую парижанку. Когда же Росников, устремив на нее резко-насмешливый взгляд, начал делать обидные намеки

и высказывать обиняками, что ему кое-что известно о карете, тогда Амелия, кусая губы и пере-могая кипящую в груди досаду, едва могла проговорить в ответ, что никто не имеет повода надсматривать за ее поступками, что она не дала Ивану Ивановичу никакого на это права, что он для нее скучный, пресный кавалер и что ей решительно все равно, знает ли он что-нибудь или ничего не знает. Это затронуло как нельзя более самолюбие Росникова и заставило его, в свой черед, произнести Амелии такую откровенную фразу, что вспыхнувшая француженка мгновенно сорвалась с места и швырнула в него букетом искусственных ландышей. Росников ушел из магазина, проклиная цветочницу и самого себя за то, что искал знакомства и даже руки сумасбродной женщины.

Такое несчастное событие заставило Ивана Ивановича избегать улицы, где жила Амелия, точно так же как удалялся он окрестностей Большого театра. И точно так же воспоминание об Амелии стало его преследовать. Склонясь на одиночное изголовье своей постели, бедный молодой человек невольно видел пред собою особу француженки: ее свежие, подернутые смуглым румянцем щеки, вишневый, громко смеющийся ротик, низкий с легким янтарным отливом лоб и густые темные брови, под которыми сверкали живые, беспокойные глаза, – это видение мало-помалу стало затмевать в воображении Ивана Ивановича образ Аннунциаты... по крайней мере, черты последней делались с каждым днем менее ясны и наконец слились в какой-то воздушный, холодный, строгий, мимо несущийся профиль.

Такую-то борьбу вели между собою в сердце Ивана Ивановича две женщины, из которых, в сущности, одна никогда о нем не думала, а другая, вероятно, через месяц совершенно его забыла!

## V

– Добраться бы мне только до этого проклятого выхода на лестницу, а там уже меня какими сокровищами опять сюда не заманят, – говорил сам себе Росников, лавируя и ускользая от масок, осаждавших его, как нарочно, со всех сторон с непонятным ожесточением.

– Здравствуй! – пищала одна из черных проказниц. – Как ты похудел! Как сплюснулся под башмаком милой твоей супруги!

– А эти цветы? – картавила другая, указывая пальцем на увядающие камелии, оставленные ему таинственной незнакомкой. – Верно, твоя жена бросила их на пол, а ты подобрал и носишь их у сердца?

– Откуда, в самом деле, взялись у тебя эти гадкие красные цветы? – зазвенел вдруг сердитый голос, и в то же время маленькое, резвое домино юркнуло к самому плечу Ивана Ивановича, мигом вырвало букет, растеребило его в лепестки и развеяло по сторонам.

Грабительская операция эта была произведена с таким изумительным проворством, что Иван Иванович, которому до смерти было жаль цветов, еще не успел прийти в себя от досады, как уже маленькое домино, подпрыгнув на носки крошечных своих ножек, начало ему шептать в самое ухо: «В два часа я буду, непременно буду. Жди меня». Затем домино снова юркнуло в толпу и потерялось из вида.

– Какая вертлявая стрекоза! – произнес Иван Иванович. – Робок я, неловок и ненаходчив: не умею в мутной воде поймать рыбу! Что, если бы подвернулась еще какая-нибудь маска? Я бы уж теперь обошелся похитрее и порешительнее... Да нет, нет, запоздалое намерение. Вот уже и выход на лестницу!

На лестнице происходила еще большая давка, нежели в зале. Черные домино и капуцины обставили сверху донизу все ступени, словно полк статуй из базальта. Надобно было дожидаться очереди, чтоб двинуться на вершок вперед. Между тем оживленные свежим воздухом маски расточали от нечего делать последние любезности и остроты. Отовсюду слышались вос-

торженные мольбы, прощальные вздохи и громкий смех неожиданно разоблаченной мистификации.

– Я буду преследовать тебя, маска, до тех пор, пока не узнаю твоего имени, – говорил статный мужчина с черными усами высокой, замаскированной даме, которую почтительно вел под руку. Даже неграциозные складки домино не могли отнять прелести у роскошного, вполне развитого ее стана.

– Ты не пойдешь за мною ни шагу далее, – отвечал ему повелительный, мелодический голос, – иначе я стану жалеть, что отдала тебе одному почти целый вечер.

– Но, прекрасная маска, скажи мне, по крайней мере, могу ли иметь надежду еще раз тебя увидеть?

«Вот должна быть красавица!» – думал Росников и протеснился несколько вперед, чтобы рассмотреть лучше замаскированную.

– Увидеть? – повторила невнимательно маска, медленно поднимая к глазам своим лорнет и наводя его на Ивана Ивановича. – Увидеть?.. Мне кажется, мы никогда уже более не увидимся.

Проговорив эти роковые слова, она, к совершенному изумлению Росникова, без церемоний притянула его к себе за широкий рукав капюшона, потом освободила свою руку от руки мужчины с усами и завела ее за руку Ивана Ивановича.

– О, вы безжалостны! – сказал статный мужчина. – В эту минуту я столько же ненавижу вашего кавалера, сколько ему завидую!

– А он, быть может, столько же ненавидит меня не за то, что я увожу его из маскарада, сколько завидует вам в том, что вы можете опять туда вернуться и повторять другим ту же самую лесть, которую я от вас слышала.

– О, вы немилосердно насмешливы! Я хотел бы, по крайней мере, знать имя счастливого соперника, для которого так жестоко вы меня оставляете!

– Его имя – Красная Ленточка, – отвечала маска и тут же выдернула из рукава удивленного Ивана Ивановича кусок пунцовой ленты, которого он прежде вовсе не замечал.

Решительным движением руки дала она прежнему кавалеру знак, чтоб он удалился. Скрепя сердце, должен был тот на этот раз повиноваться, раскланялся и пошел вверх по лестнице, а Иван Иванович начал бережно сводить замаскированную вниз, в швейцарскую, где толпа служителей давно ожидала господ своих.

– О, какая тоска, какая невыносимая скука! – произнесла замаскированная дама, склоняя к груди утомленную свою голову.

Эти слова гармонировали с печальным настроением Ивана Ивановича, и он в ответ на них не мог не прижать тихонько своим локтем милой ручки, так доверчиво отданной в его распоряжение.

Быстро повернула к нему замаскированная дама голову и взглянула на него с таким холодным, презрительным изумлением, что Росников смешался совсем, вспомня тут же слова краснорозега капюшона: «Касайтесь как можно легче до руки тех дам, с которыми будете ходить в маскараде».

Маленькая эта катастрофа происходила уже на последних ступенях лестницы. Тотчас высокий лакей, растолкав менее рослых своих товарищей, выдвинулся вперед и осторожно подал замаскированной даме бархатный, на собольем меху плащ и зеленую шаль. В то самое время как Иван Иванович, по долгу учтивого кавалера, помогал очаровательной незнакомке закутывать голову, почувствовал он, что лакей набросил также и на его плечи огромную шубу. Он хотел сказать, что эти покрытые синим сукном медведя принадлежат вовсе не ему, но расторопный слуга так живо сунул ему в руки чужую шляпу и так проворно кинулся вон из сеней, что Росников успел произнести только: «Гм!»

– Карета Долевского готова! – крикнул жандарм у подъезда.

Лакей отворил с улицы дверь и высунул оттуда свою голову в лунообразной шляпе. Замаскированная дама двинулась на крыльцо, смущенный Иван Иванович, не зная, куда ему девать чужую шляпу и шубу, последовал за нею.

С помощью лакея медленно вошла замаскированная дама по откинутой подножке в экипаж и села в противоположный угол. Ревностный служитель тотчас схватил Ивана Ивановича под руку, приготовляясь тоже усадить его в карету, но Росников попятился назад, все еще поглощенный размышлением, как бы ловчее возвратить навязанную ему шубу и шляпу.

– Садитесь же! – раздался из экипажа недовольный голосок. – Вы сегодня просто непостижимы!

«Пожалуй! – весело подумал про себя Иван Иванович, произнося в то же время выразительное: „Гм!“ – Извольте, я сяду! – думал он. – Только уже после чур на меня не пенять! Едва ли сыщется на свете чудак, который бы после таких настоятельных приглашений отказался от неожиданного счастья вам сопутствовать». Тут Росников в самом деле ввалился в карету. Лакей мигом захлопнул дверцы, крикнул кучеру:

– Пошел домой! – и карета покатила.

## VI

«Вот приключение! – думал Росников, смеясь исподтишка в бороду своей маски и боязливо поглядывая на незнакомку, которая, не обращая на него никакого внимания, смотрела в противоположное стекло кареты. – Со мною происходит теперь самая маскарадная, самая романтическая авантюра! Я не только очутился в чужой шляпе и шубе, но еще в чужой карете! А хороша должна быть эта Долевская! И к тому же, надобно полагать, страшная чудиха, затейница и озорница! Я ведь не так прост, чтоб все это приписывать одному случаю, случай-то всегда был против меня. Разве только теперь... Нет, нет! Тут есть своего рода расчетец, намеренье какое-нибудь, какая-нибудь светская проделка, женская уловка, дамская хитрость...»

– Как мне жарко! – произнесла чуть слышно незнакомка и, откинув шаль, начала развязывать ленточки своей маски.

«Интересно, интересно, дьявольски интересно!» – бормотал про себя Иван Иванович, между тем как его сердце прыгало, словно заяц, от безмерного любопытства и нетерпения увидеть скорее лицо Долевской...

Маска свалилась – у Росникова потемнело в глазах, кровь замерла в жилах, он почти лишился чувств...

Между тем экипаж остановился у подъезда. Лакей отворил дверцы и откинул подножку.

– Выходите же! – раздался опять недовольный голосок. – Вы сегодня просто ни на что не похожи!

Уничтоженный Иван Иванович беспрекословно позволил лакею вытащить себя из кареты, машинально подал руку даме и побрел с нею по широким ступеням лестницы.

Удар в колокольчик вызвал всех служителей со свечами и без свечей. Окруженные ими, Долевская и Росников вступили в переднюю, там первая оставила на руках лакея свой плащ, а Иван Иванович чужую шляпу и шубу.

Затем Долевская вошла в огромную залу. Иван Иванович бессознательно последовал за нею.

Долевская сбросила с себя домино... О, какую прелестную явилась она в своем голубом шелковом платье! Как роскошно выказался ее высокий стан! Как обнаружили ее круглые атласистые плечи! Какими розами атели ее снежные щеки, согретые и раздраженные долгим прикосновением маски!

Растерявшись еще более при виде таких несравненных прелестей, Иван Иванович собирался уже бежать, как Долевская, не обращая по-прежнему ни малейшего на него внимания, точно как будто вовсе не было его в зале, позвала служанку.

– Проводи меня, Верочка, в спальную, – сказала она, – я так устала, что едва держусь на ногах.

Когда Долевская и горничная вышли чрез боковые двери из зала, Иван Иванович бросил дикий взгляд на лакея, ожидавшего в передней, с разинутым ртом, приказаний. «Этот человек, – думал он, – принимает меня за своего барина, стало быть, Долевского нет дома. Чтоб избежать огласки, надобно мне отыскать другой выход и потихоньку юркнуть восвояси». С этою целью Иван Иванович пошел вдоль залы к противоположным дверям. Служитель, в котором по одутловатому лицу и пестрой жилетке, украшенной массивною цепочкою, не трудно было узнать камердинера, торопливо обогнал его со свечкою и начал отворять перед ним одну за другою двери в смежные комнаты. Следуя за ним, Росников попал сначала в богато убранную гостиную, после в столовую и, наконец, в круглый кабинет, обставленный широкими диванами в турецком вкусе.

Камердинер зажег стоявшую на столе бронзовую лампу, выдвинул боковой ящик из врезанного в стену шкафа и достал оттуда персидский халат, кашмировые туфли, пуховый шейный платок и шелковый, с радужными полосками по плюшевому фону, колпак, подобный тем, какие носят неаполитанские рыбаки. Тщательно разложив все это на оттомане, спросил он Ивана Ивановича: «Угодно ли раздеваться?»

Росников не хотел до такой степени искушать судьбу, он сделал на этот вопрос отрицательный знак головою, показав притом повелительным жестом на дверь. Догадливый камердинер, отвесив низкий поклон и пожелав покойной ночи представителю Долевского, отправился опять тою же дорогою, которою пришел. Иван Иванович долго слушал, как стихали малопомалу в отдалении тяжелые и мерные шаги его.

## VII

Только теперь, когда все умолкло и засыпающий дом погрузился в совершенную тишину, только теперь отважился Росников дать исход неистовой буре потрясенных чувств своих.

«Аннунциата! – возопил он, размахнув трагически руками. – Аннунциата! Ты – Долевская! Великий Боже, как не утратил я рассудка, убедясь в этой страшной истине! Как не одолела меня слепая ярость мщенья при виде этих вечно памятных комнат, где назад тому четыре года был я желанным, милым гостем и где являюсь теперь робким и нечаянным пришлецом. Объясни же мне, непостижимая, каким образом очутился я подле тебя? Привела ли меня сюда странная воля жребия или твоя жестокая прихоть? Сочла ли ты меня в самом деле за твоего мужа или только, под видом ошибки, умышленно ввела в обитель роскоши бедного страдальца, желая показать ему весь блеск, всю неприкосновенность супружеского счастья, которым ты наслаждаешься? Ах, если все это заранее предначертано тобою, подумала ли ты, Аннунциата, как безжалостно разбиваешь преданное тебе сердце, и без того уже сокрушенное горем?»

Увлеченный драматизмом своего положения и риторикою, Иван Иванович наговорил бы, конечно, гораздо более, если б легкий шорох в соседней комнате не заставил его вмиг прикусить язык и наострить уши. Через минуту дверь из библиотеки тихо отворилась. Из нее вошла или, точнее сказать, вползла в кабинет, как кошка, босая девчонка лет четырнадцати, с огромною головою, широким носом, с хитрыми косыми глазами.

– Барыня давно почивают, – прошептала она, таинственно подкравшись к Росникову, и, бросив на самого барина лукавый, воровской взгляд, обличающий какое-то обоюдное условие, выползла из кабинета.

Появление этой странной вестницы произвело в чувствах и мыслях Росникова невыразимую сумятицу, которую ближе всего можно сравнить, пользуясь старым уподоблением, с дикими и смешанными диссонансами настраиваемого оркестра. Но громче и явственнее всех звуков раздавалась в душе его тема: «Барыня почивает!» «Что за непостижимый церемониал в этом доме! – думал он. – Извещают мужа, что жена его спит! Зачем этот лукавый взгляд и насмешливая таинственность косой девчонки?.. Мне кажется, что Долевская и эта босая Ирида очень хорошо знают, что я не Долевский. Нет, нет! Это мне так показалось. Чтоб не вышло из моего настоящего положения какого-нибудь скандала, я должен уйти отсюда без всякого шума и не подав о себе ни малейшего подозрения прислуге... Я пойду к Аннунциате, расскажу ей, кто я, и тогда с ее помощью выберусь из этого дома до возвращения Долевского. Только маска и костюм теперь уже не кстати. Странствуя в них по комнатам, можно наткнуться на лакея или на служанку, пожалуй, они подумают, что господин их помешался, и поднимут тревогу. Лучше представиться тем, за кого они меня принимают».

Окончив эти размышления, Иван Иванович смело сорвал с себя личину и сунул ее в карман, потом надел сверх капучина халат, напялил на носки сапогов туфли, завернул шею и бороду в платок и натянул на голову, до самого носа, неаполитанский колпак. В таком новом наряде вышел он тихонько из кабинета, оставя на столе непогашенную лампу и притворив за собою бережно дверь.

И вот, увлеченный судьбою, герой наш проходит опять комнаты одну за другою и вступает, весь дрожа от робости, в темную залу. Здесь долго прислушивается он, не долетит ли до его ушей какой-нибудь шорох или шепот, не раздадутся ли где-нибудь человеческие шаги – в целом доме царствует мертвая тишина. Это ободряет лазутчика, и он, задерживая дыхание, пускается в длинный коридор, в котором исчезла Аннунциата. После многих закоулков и извилин, руководимый впотьмах памятью и усиленным воображением, он наконец ощупывает дверь. Тут повертывает он ручку замка и, будто тень, проскользает в теплую, ароматическую комнату.

## VIII

Слабый призрачный свет лампы, мерцающей в белой мраморной вазе, теплится, словно жертвенный огонь пред усыпленной богиней красоты. Озаренная трепетными лучами этого магического света, в пышных волнах батиста и кружев, почивает Аннунциата на роскошном ложе. Щеки ее, недавно еще пылавшие румянцем, покрыла теперь матовая бледность, и какая-то грустная истома запечатлела уста и разлилась по челу красавицы.

При виде такой чистой, кроткой, беззащитной прелести нечто подобное жалу совести кольнуло в сердце Ивана Ивановича. Вдруг почувствовал он всю неуместность своего поступка и ощутил неожиданную охоту бежать как можно скорее назад, чтоб предупредить развязку необдуманного своего предприятия. Но куда бежать? Как скрыться из дома, не быв замеченным прислугой?

Бедный Иван Иванович стоит посреди комнаты в совершенном отчаянии. Тень его падает на лицо Аннунциаты... Она вздохнула, сделала движение и пробудилась.

В один миг Росников повернулся, словно на шарнире, к ней спиною и заслонил собою свет лампы.

– А! – говорит красавица томным голосом. – Это вы? Зачем вы так поздно в моей комнате?

Совершенно потерянный, Росников не отвечает ни слова и начинает поправлять светильню лампы.

– Что вы делаете с моею лампою? – продолжает Аннунциата. – Зачем вы гасите огонь?

При этих словах Иван Иванович, не зная сам, для чего и каким образом, в самом деле потушил лампу.

– Ах! – вскрикивает красавица испуганным и вместе гневным голосом. – Оставьте меня, подите сию же минуту отсюда.

Но, взволнованный до глубины души, не зная, что делать, Росников бросается на колени...

– Не приближайтесь ко мне! – кричит она. – Ваше присутствие наводит на меня ужас и внушает мне глубокое отвращение!

После такого приветствия и минутного безмолвия, в продолжение которого изумленный Росников успел кое-как собраться с мыслями, вырвались задушаемые, истерические рыдания из груди бедной женщины.

– Нет! – говорит она, плача. – Не обманут меня более твои предательские клятвы, не тронут меня твои коварные слезы и ласки! Я поняла тебя, Жан, я теперь совершенно постигла безбожное твое вероломство! Скажу тебе прямо: жестокая твоя холодность и ветреность, которая для меня давно уже перестала быть тайною, в тысячу раз для меня сноснее, нежели настоящее твое лицемерие! Теперь, теперь... О, как презрительно твое льстивое уважение! Как много ошибаешься ты, если надеешься возвратить мою обманутую доверенность подобными мелочами! И к чему эта смешная маска раскаяния? Этот неожиданный возврат нежности, к которой ты вовсе не способен? Разве между нами не все уже кончено? Разве ты не назначал сегодня свидания другой? Будь покоен, Жан, эта роковая тайна ляжет со мною в могилу. Свет, которому поклоняешься, не перестанет видеть в нас пример счастливого супружества, наш дом не утратит общественного уважения и сохранит доброе имя извне, чем ты более всего озабочен. Я горда, Жан, столько же, как ты, но я горда иначе: я так же старательно скрываю перед людьми твои недостатки, как ты суетно выказываешь перед ними мои хорошие качества! Быть может, тебя привело опять к ногам моим опасение, чтоб покинутая жена не уступила наконец соблазнам, которые свет расставляет каждой чем-нибудь замечательной женщине... Я знаю, это опасение нестерпимо для твоего самолюбия, и если ты охладел для соперничества в любви, тем не менее возненавидел бы соперника по непреклонной твоей гордости. Я знаю это, Жан, но вместо того, чтоб подстрекать подобного рода ревность, раздувать ее пламень, скажу прямо, что тебе тут нечего бояться. Будь уверен, никакие обольщения, никакие преследования не заставят меня забыть произнесенной пред алтарем клятвы.

И забытая тобою, я сохраню до могилы несокрушимую тебе верность и безропотную покорность моему тяжкому жребию!

## IX

«Недостойный человек! – повторял в глубоком раздумье Иван Иванович, поспешно выходя из комнаты, убедившись, что у него неостанет смелости объявить Долевской о себе и вывести ее из заблуждения. – Какую тайну открыл мне сегодня случай! О, как недалновиден, как опрометчив свет в своих суждениях!»

Измученный разнообразными ощущениями этой обильной происшествиями ночи, Росников не без удовольствия приближался к кабинету, намереваясь как можно скорее сбросить там с себя чужое платье и отправиться домой через переднюю, не боясь ничего, что бы с ним ни случилось, лишь бы как-нибудь выбраться из дома на улицу.

С этими мыслями отворил он дверь в кабинет, но только что переступил порог – вдруг раздались поспешные мужские шаги в кабинете. «Теперь я погиб!» – прошептал жалобно Иван Иванович и в бессознательном страхе прижался к стене, подле самой двери...

В этой истории всего страннее то, что мы, войдя вместе с Иваном Ивановичем Росниковым в дом Ивана Казимировича Долевского и достаточно ознакомившись с его кабинетом, не

обратили никакого внимания на самого хозяина дома, даже не полюбопытствовали узнать, как и где проводит он нынешнюю ночь. Из вышеописанных обстоятельств мы только можем догадываться, что он приехал в маскарад вместе с женою и оставил свою шубу и шляпу с плащом и шалью жены на руках длинного лакея в сенях. Против обыкновения, Иван Казимирович был замаскирован. Однако ж он успел заранее предупредить, кого надобно, о красной ленточке, нарочно вдернутой в правый рукав его домино и долженствующей указать посвященным в тайны его затей, что под ним скрывается его особа. Только что ввел он жену свою в залу, как она, будто угадывая тайные его желания, подала руку своему кузену. Очутясь таким образом на совершенной свободе, Долевский мигом юркнул в толпу и начал прилежно искать встречи с теми, с кем нужно было ему переговорить. Но как ни старался он заинтриговать проходящие маски, в которых подозревал своих знакомок, те отделялись от него двумя-тремя словами, чтоб доказать ему, что он ошибся.

«Терпение мое истощилось! – говорил про себя Долевский, поднимаясь на хоры. – Словно невидимый выходец из другого света, странствую я из одной комнаты в другую, бесплодно добываясь возбудить чье-нибудь участие! Ужели маскарадный наряд до такой степени изменил мою фигуру? А условный знак? Мне кажется, пора бы наконец кому-нибудь обратить на него внимание!»

При этих словах он бросил взгляд на свой правый рукав и с удивлением заметил, что красная ленточка исчезла. «Нечего сказать, – продолжал он, – приятное открытие! Верно, я как-нибудь выронил ленточку при входе в залу. Мудрено ли после того, что меня никто здесь не узнает? Поздняя и бесполезная отгадка! Остается покориться своей участи и ехать домой. Но прежде надобно отыскать жену».

Вскоре заметил он внизу домино своей жены, которая ходила об руку с незнакомым ему мужчиною и о чем-то жарко говорила. Это не совсем ему понравилось. Нахмуря брови, поспешил он к лестнице, намереваясь сей же час сойти в залу и увезти жену домой.

– Стой, приятель! – раздался вдруг подле самого его уха резкий голос, и в то же время капуцин, в маске огненного цвета, крепко схватил его за руку.

– Поди прочь, – отозвался Долевский с досадою, усиливаясь освободиться от незнакомца, – благодари Бога, у меня вовсе нет подобных тебе приятелей!

– Мяу, вау, бау, – запищал капуцин, дерзко заглядывая в глаза Долевскому, – старая, любезнейший, шутка! Хрипи, басы, картавь, переменяй свой голос сколько угодно, меня этим не обморочишь! Я за тобою уже давно наблюдаю. Я узнал тебя по твоей походке, которая сильно изобличает провинциального разгильдяя. Хочешь, скажу, зачем ты здесь?

– Рад слушать.

– Строишь куры вон этому домино, под которым, по твоему мнению, скрывается Долевская.

Как ни смешны были эти слова, но Долевскому неприятно было убедиться из них, что инкогнито его жены известно постороннему человеку.

– Я не знаю никакой Долевской! – произнес он глухо.

– Полно, милый, болтать вздор! – возразил капуцин с фамильярною настойчивостью. – Уверяю тебя, что все эти эксцентрические проделки, в которые так наивно вдался ты ради Долевской, ровно ни к чему не служат и крепко отзываются провинцией, откуда ты приехал. Я знаю, тебе смертельно хочется поговорить теперь с ней; пожалуй, я бы мог помочь в этом смешной твоей неловкости, но будет ли от этого прок? Кроме дарования отпускать светские комплименты, которого, впрочем, решительно ты не имеешь, пред женщинами необходима интересная наружность, а ее, благодаря твоей уродливой маске и чудовищному домино, никак не можешь ты сегодня употребить в дело. Надменная Долевская срежет с первого раза молодые побеги твоих надежд, так что никогда уже им потом не дорасти до цвета. Лучше подождем

случая, когда в полном блеске можешь ты выказать перед ней голубые свои глаза, русые кудри, свежие щеки и жемчужные зубы. Хочешь, я введу тебя в дом Долевского?

– Сделай одолжение! – отвечал Иван Казимирович, бросив испытующий взор на капуцина и стараясь узнать по голосу, кто бы это был.

– Так будем мы помогать друг другу, занимаясь, впрочем, каждый по своей части. Я стану играть и отвлеку тем Долевского от наблюдений за женою, а ты своим волокитством за нею развлечешь его внимание, чтоб он скорее проигрался.

– Придумано славно! – вскрикнул Долевский с злобным хохотом. – Только мне кажется, что мы оба останемся в дураках!

– Тебе это кажется потому, что не знаешь некоторых обстоятельств, давно известных целому свету!

– Какие же это обстоятельства?

– Во-первых, неизлечимая страсть Долевского к игре. Несмотря на огромное свое состояние, часто просиживает он за картами целые ночи, и это самое было началом раздора между ним и его женою.

Долевский пришел в смущение, чувствуя справедливость этих слов и убедясь из них, что его супружеские отношения не тайна для других.

– А во-вторых? – спросил он нетвердым голосом.

– Во-вторых, сумасбродная страсть Долевского к волокитству. Несмотря на то что судьба послала ему прекрасную, милую и образованную подругу, он беспрестанно любезничает с другими.

– Далее, – прервал Долевский, краснея от стыда и злости под маскою.

– В-третьих, жалкие последствия таких поступков, то есть: титу лицемера в обществе, охлаждение жены, которая, скучая одиночеством, будет непременно иметь в нынешнюю ночь, в два часа, свидание в своем доме с одним очень любезным молодым человеком, влюбленным в нее до крайности.

– Лжешь! – закричал Долевский в бешенстве. – Теперь уже половина третьего, а Долевская не оставляла маскарада ни на минуту. Вот она идет мимо пятой колонны, как ты и сам, дрянной клеветник, можешь видеть!

– О провинция! О простодушие! – возопил капуцин. – Сойди-ка, любезный, вниз и побеседуй с той маской, которую так наивно принял ты за Долевскую. Тогда узнаешь, я ли клеветник – ты ли глупец!

– Жди меня здесь, – отвечал Долевский, – я намерен поговорить с тобою не по-маскарадному.

– Буду ждать, пожалуй, до рассвета, чтоб только посмеяться вдоволь над твоим уморительным ослеплением!

Вне себя от досады, бросился Долевский с хор и побежал к тому месту, где видел Долевскую.

– Пора нам домой! – произнес он сухо, поравнявшись с известным домино.

– Поедем, милый плутишка, поедем! – зашамкал из-под маски дряблый старушечий голос, заставивший Долевского отпрыгнуть в сторону от ужаса и изумления. – Я готова ехать, – продолжало домино, настигнув Долевского и устремив на него тусклые зеленые глаза. – Что же ты стоишь, словно окаменелый? Посмотри, какая у меня славная ручка! – Тут старуха сняла перчатку и поднесла к самому его носу желтую, иссохшую, морщинистую руку. – Видишь, какие у меня острые ногти! – прибавила она злобно и насмешливо. – Доберусь я, доберусь до твоего влюбчивого сердечка!

Опрометью пустился Долевский из зала, чтоб отвязаться от этого оборотня.

– Ожегся, осекся, укололся, срезался! – кричал ему вслед неумолимый капуцин, задыхаясь от хохота.

Смущенный и рассерженный как нельзя больше, Долевский торопливо пробежал всю анфиладу комнат, отыскивая свою жену, но нигде не мог ее встретить. «Неужели проклятый капуцин сказал правду?» – повторял он, спускаясь в сени большого подъезда, где надеялся найти своего лакея.

После долгих и напрасных поисков Долевский наконец убедился, что его жена, его экипаж, его лакей, его шуба и шляпа – исчезли. Терзаемый тысячью ревнивых предположений, решил он во что бы то ни стало скакать скорее домой, чтоб там добраться до развязки таких необыкновенных приключений.

– Послушай, любезный, – говорил он полусонному хранителю плащей и калош, – одолжи мне какую-нибудь шинель и фуражку или хоть ливрею и картуз, чтоб доехать до дома. Я Долевский. Мой человек и экипаж пропали без вести.

– С удовольствием, – отвечал тот, узнав знакомый ему голос. – Только ливреи-то наши немножко позатасканы... будет неладно. Вот у Петрушки новая ливрея, да на беду такая длинная, что вы в ней просто запутаетесь.

– Все равно, братец. Я готов укутаться теперь в саван, лишь бы скорее отсюда уехать.

– Сохрани от этого, Господи!.. Если б вы пожаловали часом прежде, я мог бы представить вам любой плащ или шубу, их была здесь целая пропасть. А теперь господа разъехались и все разобрали. Не приложу ума, как услужить вам! Позвольте-ка, однако ж, позвольте: кажется, там, на верхней полке, что-то лежит... Ну, слава Богу! Вот вам енотовая шуба, шляпа и калоши. Хоть они и больно ветхи...

– Ничего, братец, ничего, – говорил Долевский, торопясь облечься в оставленную Иваном Ивановичем Росниковым одежду, – я сей же час пришлю тебе обратно всю эту дрянь с моим человеком, а взамен ее возьми, пожалуйста, мой противный капуцин и маску, под которой я совсем задыхаюсь. Дарю их тебе за хлопоты, отныне я не намерен больше маскироваться! – Тут Долевский выбежал на улицу и, бросаясь в сани первого попавшегося ему на глаза извозчика, помчался домой.

## Х

Он был очень изумлен, заметя, что дверь маленького подъезда, доступная только ему, была не заперта.

– Нет сомнения, – кричал он, вбегая в кабинет и бросая на пол шляпу, шубу и калоши Ивана Ивановича, – нет сомнения, во всем этом кроется какой-нибудь ужасный обман, давно известный целому свету!

Тут растворил он наотмашь двери залы и побежал к Анне Петровне.

А спасенный этим порывом Росников вышел на цыпочках из залы, зацепясь ногою за неожиданно возвращенную ему одежду, поднял ее и мигом надел на себя, затем бросился опрометью из дома.

– Из всех чудес нынешней ночи, – бормотал он, стремительно выбегая на улицу, – явление моей шубы, шляпы и калош – самое необъяснимое чудо!

Долевский вошел к Анне Петровне, сторая адскою жаждою стать наконец лицом к лицу с вероломною, насладиться ее испугом и напрасными мольбами. Но он был встречен вовсе не так, как ожидал. При его появлении лицо Анны Петровны выразило не боязнь и замешательство, а какое-то гневное изумление, смешанное с презрением. Расширив глаза, смотрела она на своего мужа, как смотрит неприступный судья на дерзкого и закоснелого преступника.

– Как смели вы войти сюда? – спросила она грозно.

С своей стороны Долевский, остолбенев от такого приема, тоже вперил удивленные очи в лицо жены.

– Я пришел, – отвечал он наконец зловещим, глухим голосом, – я пришел, сударыня, требовать отчета в ваших поступках.

– Вы? В моих поступках? Вы потеряли на это вечное право, и я не хочу вас более ни слушать, ни видеть.

– Нет, Анна, – вскрикнул Долевский, – не так скоро откажусь я от этого права, как ты полагаешь! Моя несчастная ветреность разве может оправдать твое холодное вероломство? Должна ли ты платить мне злом за зло? Разве для тебя легко смыть позор с нашего дома? Спроси об этом самых легкомысленных женщин, тебе скажут, что отныне он неизгладим и что этим я обязан одной тебе, тебе, которую я уважал более всего на свете, которую считал образцом чистоты и благоразумия, которую любил нежно и почтительно, которой верил безусловно и без всякого опасения.

Волнение чувств захватило голос Долевского. Он замолчал, но колеблющаяся грудь, судорожно сжатые губы и бледность щек показывали, как истинно, как глубоко его огорчение. В самом деле, только теперь, когда он убедил себя в невозвратной утрате сердца Анны Петровны, только теперь он почувствовал, до какой степени любил ее. С ним случилось то же, что случается обыкновенно с ветренниками, которые понимают всю цену сокровища тогда только, когда его потеряют.

– Это превосходит всякое вероятие! – начала Анна Петровна тихим голосом. – Вы поступили как нельзя хуже, и вы же меня обвиняете! Впрочем, я готова отвечать вам на все, чтоб видеть, как далеко простираются ваше лицемерие, ваша несправедливость. Извольте меня спрашивать.

– Прежде всего я желал бы знать, почему вы оставили маскарад и увезли с собою мою шляпу и шубу?

– Я оставила маскарад потому, что мне сделалось там смертельно скучно. Шуба и шляпа ваши были у моего человека, их никто не увозил, и вам самому очень хорошо известно, что вы приехали домой в своей шубе и шляпе.

– В самом деле?! А хотите ли вы посмотреть, в каком наряде я действительно вернулся из маскарада?

– Меня это очень мало интересует. Впрочем, пожалуй!

Долевский стремительно подал руку жене и повлек ее в кабинет.

– Вот в чем я приехал домой! – кричал он. – Вот в чем...

Говоря это, он искал глазами на полу чужой шубы и шляпы, но они уже исчезли.

– Я ничего не вижу здесь, кроме ковра, – возразила жена. – Ужели вы хотите меня уверить, что вы ехали со мною, завернувшись в этот ковер? Но я сейчас обнаружу всю нелепость ваших странных, фантастических выдумок.

Тут Долевская позвонила.

– Принеси сюда, – сказала она вошедшему слуге, – ту шубу и шляпу, в которых барин приехал нынешнею ночью из маскарада.

Через минуту слуга исполнил ее приказание.

– Где ты взял это? – закричал Долевский. – Сказывай, кто тебе отдал мою шубу и шляпу, которых искал я целый час у подъезда?

– Вы сами изволили отдать мне их в передней на руки, когда воротились из маскарада.

– Прочь с глаз моих, негодяй! – заревел Долевский. – Я теперь вижу, что целый дом против меня в заговоре, я теперь понимаю, что здесь все против меня сооружено и подкуплено!

И кем же? Моею женою! Вот награда за мое ребяческое доверие!

– Жаль мне вас, – начала Анна Петровна, – никогда я не ожидала, чтоб вы могли унизиться до таких бесполезных и смешных изворотов! Прошу вас об одном: позвольте мне вас оставить... – Тут Долевская горько зарыдала.

– Да объясните же мне, наконец, эту загадку, – сказал Долевский.

– Вам очень хорошо известно, что вы приехали домой вместе со мною, в своей шубе и шляпе, вот в этой маске и в этом домино с красной ленточкой, тайну которой узнала я от служанки. Вы очень хорошо помните, как нарушили мой сон, являсь неожиданно в моей спальне, как погасили мою лампаду...

Тут Долевский уже потерял совершенно рассудок. Бессмысленно глядел он на капюцин и маску, топал ногами, рвал на себе волосы, вопил, проклинал себя. Он заставил Долевскую несколько раз повторить рассказ о случившемся и, убедясь наконец, что она говорит без обмана, впал в мучительное подозрение, что какой-нибудь злодей воспользовался его отсутствием и нарядился в его одежду. Он признавал в этом кару Провидения за свои шалости, в которых громко и подробно теперь каялся.

– Прости меня, Анна, – повторял Долевский на другой день утром, целуя руки своей жены, – я всегда любил тебя, а теперь люблю более, нежели когда-нибудь. Я хочу загладить свои прежние проступки: на этой же неделе оставим столицу, чтоб избежать толков и сплетен, которых я предвижу целую бездну. Уедем на полгода в нашу подмосковную деревню, предав совершенному забвению всех капуцинов и других маскарадных оборотней. Докажем им, что они, намереваясь окончательно разрушить наше семейное счастье, утвердили его навеки.

И Долевские оставили Петербург.

1850

## Михаил Авдеев (1821–1876)

### Огненный змей

*По поднебесью летит он, злодей, шаром огненным, по земле  
рассыпается горячим огнем, во тереме красной девицы становится  
молодым молодцем несказанной красоты. Сушит, знобит он красну  
девицу до истомы...*

*Сказания русского народа*<sup>6</sup>.

На днях по некоторым литературным обстоятельствам я должен был принимать живейшее участие во всех петербургских увеселениях. И я принимал это участие. Я бывал в опере, балете, цирке, русском и французском театрах.

Я был на балах и маскарадах и даже собирался на минеральные воды к Излеру<sup>7</sup>, но, по счастью, узнал, что там еще не веселятся, а только собираются веселиться. Я ужасно веселился со всеми моими петербургскими читателями и имел еще большее удовольствие рассказывать о наших веселостях читателям иногородним, и вскоре мне предстоит опять подобное удовольствие: я опять заживу полной жизнью всех петербургских веселостей, опять театры, балы, маскарады и все, что к тому времени Петербург придумает веселого.

Как видите, мы, писатели, живем иногда чрезвычайно весело. Нам стоит только веселиться да среди веселостей наблюдать разные стороны частной и общественной жизни и потом более или менее искусно рассказывать свои замечания, сдабривая их красным словцом фантазии. Но с некоторыми из нас бывает следующего рода неприятность. Во всех народных преданиях есть одно поверье, оно говорит, что люди, одаренные властью над нечистой силой, должны непрерывно задавать ей работу. Как скоро она кончит одну и вы не успеете ей задать другую, нечистая сила из вашей рабы делается госпожою, берет над вами власть и распоряжается вами очень неприятно. Точно то же делает с нами иногда наш выездной конек – воображение.

Я, например, хотел бы немножко отдохнуть между двумя периодами веселостей, я бы хотел посидеть дома, тихо переваривая сладкие воспоминания прошлых удовольствий и предвкушая сладость будущих. «Я б хотел забыться и заснуть!»<sup>8</sup> Но вдруг... Ба! Мое воображение возмутилось. Оно говорит, что ему скучна вся эта масса веселостей, что ему надоели наши театры, балы и маскарады, что ему не хочется смотреть на наше светское общество, что ему мало этой скудной пищи, которую дают ему наши ровные, гладкие и приличные отношения, наши тихие, не проглядывающие наружу да, кажется, и не забивающиеся в глубину чувства, что ему тесно прогуливаться и по Петербургу, где оно витает, и по провинции, где я неоднократно заставлял его копошиться, что ему хочется другой жизни, жизни, связанной не этикетом, а преданиями, жизни, в которой заботятся не об угождении той или другой почтенной заслуженной личности, а какому-нибудь живущему где-то за печкой домовому, что ему нужна обстановка леса, покрытого инеем, степи, занесенной снегом, клеушка, загороженного тычин-

---

<sup>6</sup> Неточный пересказ народного поверья, изложенного во втором томе «Сказаний русского народа», собранных И. Сахаровым. Поверье, распространенное в Тульской губернии: «Всякий видит, как огненный змей летает по воздуху и горит огнем неугасимым, а не всякий знает, что он как скоро спустится в трубу, то очутится в избе молодым несказанной красоты. Не любя – полюбишь, не хвала – похвалишь... Без змея красна девица сидит во тоске, во кручине, без него не глядит на Божий свет; без него она сушит, сушит себя».

<sup>7</sup> Иван Иванович Излер (Иоганн Люциус; 1810–1877) – владелец заведения искусственных минеральных вод (также известный как «сад Излера») в Петербурге.

<sup>8</sup> Строка из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

ками<sup>9</sup>, а не города с многоэтажными домами над рекой с берегами из гранита, что ему надоели шармеровские<sup>10</sup> фракки, пропитанные духами, газ и ленты наших прелестных женщин с волосами, зачесанными назад а la Margo, и что ему хочется освежить себя в душевной избе с тараканами и лучиной, подышать поэзией нагольного тулупа и вымытой тряпицы.

Что за дикая фантазия! А между тем она мчит меня, мчит из Петербурга, и когда же? – в самом начале нашего сезона, мчит по железной дороге... нет, мимо, и быстрее паровозов, в губернский город – мой милый губернский город<sup>11</sup>, где я так весело скучал... нет, еще мимо! Вот мы спустились на Волгу, на зимний тракт, вот мы несемся по ней, своротили, поднялись на нагорный берег, вот большая дорога, уставленная рядами заиндевевших берез, по ней дальше, глубже в Русь, вот и торный проселок, на котором еще виден след Григоровича<sup>12</sup>... Воображение! Нас опять укорят в подражании! Нет, дальше, еще дальше мчит оно меня! Вот проселок, занесенный снегом, едва протоптанный, по нем, по нем мы мчимся десятки верст, не встречая жилья... мы заблудились, кажется... нас занесет бураном, и я замерзну вместе с тобою... Но вот в стороне блеснул где-то огонек, где-то твякнула собака, вот петух запел где-то здесь близко, мы наткнулись на что-то... Ба! Это, кажется, жилье! И мы остановились...

У! Какая глушь!

Темно. На небе нет ни туч, ни звезд. Сквозь серую тьму ночи едва видна какая-то густая и ровная полоса... Что это – стена? Нет, это должен быть бор – слышите, как шумит он! А кругом снег и снег, и только ветер разгуливает по нем, шелестя и наметая сугробы. Но вот в одном месте какой-то перевал, а за ним, обозналась темными очертаниями, ряды избышек, окутанные соломой, как будто только что приподнялись из-под снега и не успели еще стряхнуть белый и толстый слой его, который лежал мягкою подушкой на крышах и оборванными клочьями висел на тычинах изгородей и узорчатой резьбе навесов.

На улицах ни души, и только из одного или двух маленьких окон слабый свет вырывался туманным снопом к земле и, дойдя до нее, дрожа, расстился по снегу. Что это? Засиделась ли какая-нибудь припугнутая свекровью молодка над пряжей, или хлопотунья-хозяйка обозналась временем и встала спозаранку? Который-то час? Но здесь нет часов! Здесь и не знают часов, а знают полдень и полночь, утро и вечер, рассвет и сумерки, и показывает здесь время в ясный день солнце, в глухую ночь петух кричит его, и петух этот «хоть не человек, а свое дело знает и баб научает».

Да где ж мы? Далеко ли мы от Петербурга, наконец? И это совершенно неизвестно, здесь даже не знают, есть ли город Петербург или нет, и очень может быть, что мы здесь за полтора года до его основания. Да какой же здесь уездный или губернский город? Есть город, и в нем бывали даже некоторые мужики, и название есть этому городу, а губернский он или уездный – Бог его знает! И губерния ли тут или воеводство – этого тоже утвердительно сказать не могут!

Боже мой! Да где же это мы? Какой здесь век, какой здесь год? Это тоже неизвестно, Бог его знает, какой век, старики свой доживают, а малые начинают... а год – год тяжелый: греча плохо родилась, озими повылегли... да этого и ждать надо, потому что прошлой зимой Касьян именинник был, а когда Касьян бывает именинник, так это високос – известно, тяжелый год.

Да месяц какой идет – декабрь ли, январь или февраль? А Бог его ведает, месяц какой, а известно, что солнцеворот<sup>13</sup> давно прошел, на Варвары<sup>14</sup> зима мосты намостила, а на Савву<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> *Клеушка, загороженного тычниками* — маленький хлев, обнесенный частоколом.

<sup>10</sup> *Шармер Е.Ф.* – известный петербургский портной, у которого одевался Ф.М. Достоевский.

<sup>11</sup> По окончании в 1842 году петербургского Института путей сообщения Авдеев был направлен на службу в Нижний Новгород, где провел несколько лет.

<sup>12</sup> Подразумевается роман Д.В. Григоровича «Проселочные дороги» (1852).

<sup>13</sup> *Солнцеворот* — имеется в виду зимнее солнцестояние 12 декабря. (*Здесь и далее даты по старому стилю.*)

<sup>14</sup> День памяти св. Варвары (4 декабря).

<sup>15</sup> День памяти св. Саввы (5 декабря).

гвозди заострила, до Петра-полукурма<sup>16</sup> еще не дошло, а уж об Васильев вечер – день прибыл на куриный шаг<sup>17</sup> и еще нечего беречь нос, потому что Афанасий<sup>18</sup> не пришел, а потом будут Тимофеи-полузимники<sup>19</sup>...

Я ничего не понимаю! Да как у вас пишут вот в конце письма после покорнейшего слуги и прочее – год, месяц, число? Да у нас ничего не пишут, потому что и грамоте во всей деревне никто не знает...

О невежество! Какое ужасное невежество! А между тем странно: у этих людей есть свой календарь, и весьма верный календарь, и знают они, например, что от водокрещ до Евдокеи семь с половиной недель<sup>20</sup>, и Илья-пророк три часа приволок<sup>21</sup>, и во что Маккавей<sup>22</sup> – во то и разговенье, и знают они, сколько морозов было и сколько будет и как какой мороз называется<sup>23</sup>, и каждый день в году имеет для них свое значение, и звезда падающая, и птица перелетающая говорят им непонятным для нас языком, и предания живут и передаются в их безграмотных устах, и духи злые и добрые витают вместе с ними с незапамятных времен, и есть у них доброе и грозное слово для этих духов, и есть чары непонятные, и есть зелья чародейные, и вся жизнь их идет мерным, стройным, неизменным течением, как шла она сотни лет назад, при их пращурах, как пройдет сотни лет вперед до их правнуков, будто какой-то неведомый дух обошел ее невесть когда! И бежит с тех пор хлопотно, торопливо вперед и вперед озабоченный мир кругом ее, а она стоит, глубоко погруженная в свои думы, и не видит остального мира, будто ждет, когда, свершив свой круговорот, он снова дойдет до нее и сольется с ней...

Какой странный, какой чудный мир!

На самом краю этого маленького мира, не значащегося на географических картах мира, но известного в околотке под именем сельца Ознобиха, далеко отделяясь от деревни, стоит избушка. Судя по наружности, она не принадлежит к крестьянским. И в самом деле, около нее видите занесенный снегом остов какого-то старинного каменного дома, от которого остались только стены, а за домом голые деревья сада, который за давностью лет обратился в лес и слился с ближним лесом. Избушка, видно, принадлежала прежде к службам этого дома и, ветхая, деревянная, по какому-то странному случаю пережила своего каменного господина и, как старый и верный слуга, одиноко сторожит его развалины.

Раз в зимний вечер далеко из открытого поля, которое расстилалось перед лесом и деревней, можно было видеть какие-то два светящиеся глаза: это был огонек, блестевший из маленьких окон избушки. Внутренность избы мало отличалась от обыкновенной крестьянской: та же большая печка в углу и перегородка, те же лавки по стенам, те же темные от времени и дыма стены. Только не было над входом низких и широких полатей, а вместо них на протянутых веревочках висели какие-то травы. Пучки этих же трав висели, привязанные к деревянным гвоздикам, по стенам и были их единственным украшением. В избушке не было видно крестьянской домовитости, не было кур, иногда клохчущих под печкой или лавкой, мало было домашнего скарба, в ней было чище, чем в крестьянских избах, но как-то пустее, нелюднее.

---

<sup>16</sup> В день памяти св. Петра (16 января) крестьяне осматривали амбары, полагая, что зимнего корма осталось ровно половина.

<sup>17</sup> День памяти свт. Василия Великого (1 января). После Рождества (25 декабря) день прибавляется на 7 минут.

<sup>18</sup> День памяти св. Афанасия (18 января) бывает очень морозным. Существует поговорка: «Афанасий-ломоноос – береги нос», у

<sup>19</sup> Тимофеевские морозы начинаются в день памяти св. Тимофея (22 января). Было принято считать, что на этот день приходится середина (половина) зимы.

<sup>20</sup> *Водокреши* — праздник Крещения (6 января). *Евдокея* – день памяти св. Евдокеи-Капельницы (1 марта).

<sup>21</sup> Поговорка, приуроченная ко дню св. Ильи-пророка (20 июля), когда световой день на три часа продолжительнее, чем во время равноденствия.

<sup>22</sup> День Маккавей отмечается 1 августа; разговеньем 15 августа заканчивается Успенский пост.

<sup>23</sup> Михайловские (с 8 ноября), введенские (с 21 ноября), Никольские (с 13 декабря), рождественские (с 25 декабря), крещенские (с 6 января), сретенские (со 2 февраля), власьевские (с 11 февраля) морозы.

Тихо было в избушке, только сверчок чирикал где-то в щели да какой-то глухой и неясный шепот слышался на печке, и шепот однозвучный и тихий, как шелест сухих листьев. В переднем углу перед деревянным столом в поставце стояла сухая дудка, налитая внутри салом: ее-то слабый огонек блестел в поле и едва обозначал темные углы избушки. Но он ясно освещал хорошенькую женскую фигуру.

Это была девушка лет шестнадцати. Судя по одежде, она принадлежала к крестьянам: на ней был синий пестрядинный сарафан с медными пуговками и белая холщовая рубаха. Темно-русые, гладко причесанные волосы окаймляли невысокий лоб и, перегнувшись за уши, падали густой косой до самой поясницы. Лицо девушки было немного худощаво, смугловато, но чрезвычайно красиво. Рот маленький и немного выгнутый, как стрелковый лук, прямой и небольшой нос, темно-карие, ясно очерченные глаза и брови тонкие и круто загнутые над внутренними углами глаз. Все это лицо, продолговатое и нежно законченное подбородком, несмотря на молодость, имело много выражения. Оно смотрело весело и открыто, на нем не лежало никакой особой мысли, но оно было как-то хорошо оттенено. Небольшой румянец смуглых щек, желтоватая белизна гладкого лба и бледно-молочный подбородок, едва видные темные волоски на висках и ясные глаза, даже маленькая, как у всех смуглых, тень под глазами – все это вместе делало лицо девушки чудесно освещенным, как это мы иногда видим на портретах новой итальянской живописи, освещенным и согретым так, что на нем, несмотря на неподвижность линий и непрозрачность кожи, можно по какому-то переливу теней ясно читать внутреннее настроение. Очерк молодого стана, еще несколько худощавого, можно было следить под складками свободной одежды. Стан этот был гибок, строен и, как молодое зерно колоса, только что наливался. Из широкого рукава рубахи виднелась тонкая молодая рука, и рука эта была мало огрублена суровой крестьянской работой: видно, немного несла она ее.

Девушка сидела у стола и торопливо шила. К однообразному крику сверчка, к странному и глухому шепоту, который слышался на печке, присоединялось частое ширканье нитки, сшивающей какие-то лоскутки. Девушка вся была погружена в работу, изредка она останавливалась, разглядывала шитье, немного сбочив голову на ту или другую сторону, и тихо, без слов запевала какую-то песенку, потом опять принималась шить, умолкала, и тогда немного сдвинувшиеся брови и наморщенный лоб обозначали заботу, между тем как на губах отражалась какая-то веселая и светлая мысль.

Вдруг в запертое окно кто-то стукнул.

Девушка вздрогнула, закрыла свет рукой и стала всматриваться, но частый скрип женских шагов по снегу послышался вдоль внутренней стены, потом на крыльце – и дверь растворилась.

Густой пар холодного воздуха влетел в избушку, но дверь захлопнулась, пар исчез и, выступив из него, к столу подошла другая девушка. Пришедшая была невысокого роста, тоже молоденькая, но полненькая, яркий румянец от мороза сильно горел на ее щеках, вздернутый носик покраснел, и русые волосы, немного желтого отлива, слегка заиндевели, бойкое круглое и хорошенькое лицо ее выглядывало из красного платка, который покрывал голову и был завязан у полного подбородка, на плечи была накинута овчинная шубенка.

– Здорово, Васена! – сказала вполголоса вошедшая, целуясь с хозяйкой. – Я за тобой прибежала.

– А, это ты, Дуня! А что?

– Да девки собрались и уже пошли по деревне. Пойдем и мы, нам еще впервой ходить.

– Постой, вот я бабушке скажусь.

– А она дома? – спросила Дуня.

– Слышь!

Но в это время шепот замолк, и послышался дребезжащий голос:

– Кто это пришел?

- Здорово, баушка, это я!
- А, ты, Дуня! Что тебе?
- Отпусти, баушка, Васену – тауси петъ, мы еще с ней не ходили.
- Тауси? Ну пусть идет, таусень<sup>24</sup> надо справлять.

Во время переговоров Васена сложила работу и прислушивалась к словам бабушки, но, получив согласие, тотчас же вскочила.

- Вот я только переоденусь, – сказала она и зашла за перегородку.
- А ты скорей, смотри! – сказала Дуня и стала греть руки у печи.

Вскоре вышла Васена в тонкой белой рубашке и новом малиновом кумачном сарафане, она перетянула его плетеным поясом, и молодая грудь ее едва обозначилась. Затем она накинула платок на голову и шубенку на плечи.

- Баушка, ты загаси огонь, – сказала она.
- Ладно! – отвечал дребезжащий голос, и они вышли.
- Пойдем скорей, Федюшка, чай, продрог, – сказала Дуня, едва они вышли в сени.
- А он разве с тобой?
- Со мной, – отвечала она, и они подошли к калитке.

Но, растворив ее, обе девки были несколько удивлены: вместо одного Федюшки было два парня.

– Здорово, Васена, – сказал невысокий, но крепкий парень лет восемнадцати, он был в коротеньком полушубке, вьющиеся волосы его, выбивавшиеся из-под шапки, заиндевели, пушок на усах и бороде тоже побелел. По сходству открытого смуглого лица в нем можно было сейчас узнать брата Дуни.

- А это кто? Ты, Антип? – спросила Дуня.
- Я, – отвечал нерешительно другой парень, повыше и пожиже Федюшки.
- А для чё ты здесь? – спросила сердито Дуня.
- А я было вот к Федюхе пришел, да узнал, что он сюда ушел, вот и я тоже...
- Больно нужно было!
- Ну, эка беда! Что он, те съест, что ли? – заметил брат.
- Съест не съест, а что девки будут баить, коль увидят, – они и то едятся на нас.
- Пусть их едятся, – сказал Федюшка и хотел подойти к Васене.

Но девки схватились под руки и пошли скоро вперед, парни едва успевали за ними.

Месяц высоко стоял на синем и ясном небе, морозный воздух был неподвижен и жег лицо, снег искрился, отливало и блестело на месяце. Торопливые шаги двух пар, скрипя, удалялись все дальше и дальше, и из деревни, совершая какой-то обряд, никому не ведомый, никем не понимаемый, но обряд, завещанный стариною, слышалось пенье женских голосов:

Таусень! Таусень!  
Походи, погуляй  
По святым вечерам,  
По веселым теремам.  
Таусень! Таусень!

Между тем в избушке, оставленной Васеной, стало еще пустее, еще унылей. Свечка нагорела, сверчок чиркал громче, и шепот на печке становился слышнее и слышнее. Но вот кто-то завозился, закричал, и чья-то тощая и согнутая фигура, лепясь и придерживаясь, слезла тихо с печки. Это была высокая худая старуха, истасканный и лоснящийся нагольный тулуп

---

<sup>24</sup> *Таусень* — канун Нового года, Васильев вечер. В этот вечер молодые люди ходили по домам с поздравлениями и исполняли при этом обрядовые величальные песни – тауси (таусени), колядки, собирая деньги, угощения.

прикрывал ее; сморщенная, желтая, как сухой лист, шея, на которой только было видно жилы да складки, высовывалась из одежды; сухое лицо старухи, так же как и шея, съезжилось в морщины, и трудно сказать, каково было это лицо смолоду, только нижняя губа старухи и подбородок отвисли, и она все будто жевала что-то, жевала и беспрестанно шептала, но что шептала – неизвестно. На голове у нее был платок, из-под которого выбивались черные всклокоченные волосы, несмотря на старость, едва подернутые сединой, и эта голова дрожала.

Старуха подошла к поставцу<sup>25</sup>, прищурилась, обломала немного дудку близ огня, потом прислушалась, но в избушке и кругом нее ничего не было слышно, кроме крика сверчка и старушечьего шепота. Тогда, шаркая ногами, подошла старуха к печке, отодвинула заслонку, вынула какой-то горшочек, взяла в обе руки, согнулась низко-низко, вплоть до полу, и, сунув горшок под печку, что-то прошептала погромче, приподнялась и поклонилась. Затем сморщенными губами она задула огонь, ощупью добралась до печки и, кряхтя, взобралась на нее. В избушке стало темно. Сверчок, покричав малую толику, замолк, дальше слышался шепот старухи, но и он замолк, так тихо замолк, как будто умер вместе с нею, и только месяц светил в избушку сквозь замерзшие окна. Вдруг под печкой послышался какой-то шорох, и будто кто-то тихо и осторожно начал есть.

\* \* \*

Через несколько дней после того, тоже вечером, в другой избе, уже в самой середине деревни, ярко горела лучина, и в низенькую калитку поодиночке и попарно, торопливо пробежав от ворот до ворот, шмыгали женские фигуры. На дворе было морозно, но в самой избе тепло и даже душно. За большим столом в переднем углу сидело по лавкам несколько девок, все они были нарядны и большею частью молоды, между ними с краю сидели наши знакомки – Васена и Дуня. Последняя часто вставала и хлопотала: она была хозяйка.

Васене и Дуне, обеим ровесницам, только по осени минуло шестнадцать лет, нынешнюю зиму они в первый раз были допущены к взрослым, в первый раз девки на выданье, невесты, не отгоняли их от себя, как молоденьких девчонок, и приняли в свой кружок, хотя приняли не без зависти: что делать, во всяком кругу молодость и красота больно колют неказистую зрелость.

Поэтому Дуня, дочь мужика не бедного, чтоб сойтись с подругами, зазвала их к себе вечер покоротать, святки справить обычной ворожбой и песнями.

Девки сидели немного чинно и как-то связано, изредка они перекидывались словами, чаще подруга с подругой перешептывались; видно было, что чего-то не доставало, что веселье не началось еще. В углу баба, уж немолодая, низенькая, худощавая, с лицом холодным и озабоченным, что-то возилась и хлопотала у печки. В другом углу, у двери, стояли три или четыре парня и между ними хозяйский сын, Федюшка, с своим крестовым братом Антипом. На полатах, в самой середине, какая-то голова, вся обросшая курчавыми волосами, облокотясь на сложенные руки, спокойно и неподвижно глядела вниз, а около нее так же глядели две беловолосые детские головки – и все чего-то будто ждали.

Вдруг распахнулась дверь, и в избу словно вплыла какая-то баба.

– Федосевна! Тетка Федосевна! – сказали все.

Тетке Федосевне можно дать на взгляд лет под сорок. Это была баба невысокая, толстая и спокойно-самоуверенная. Ее лицо, изрытое оспой, с приплюснутым носом и бойкими серыми глазами, смотрело чинно и степенно. Она вошла, остановилась, три раза перекрестилась перед образом и потом обратилась к бабе, хлопотавшей у печки.

– Здорово, мать Васильевна, – сказала она с поклоном, подошла и три раза поцеловалась с хозяйкой.

---

<sup>25</sup> *Поставец* — невысокий шкаф для посуды.

– Здорово, Федосевна, – отвечала та.  
– Здорово, красны девицы! Мир честной компании! – сказала она, развязывая платок.  
– Здорово, тетка Федосевна, – отвечали девки.  
– А что ж это вы, красные, собрались да поджав руки сидите? Ноне можно и песни спеть – святки честные справить как след.

– Да тебя ожидали, тетка Федосевна, – сказала Дуня. – Ты у нас всему уряд: справишь и наставишь.

– О-ох вы, молодежь! Ну да твое дело, Дуня, неразумное, ты же и впервой еще, а вот вам бы, девушки, и неча чужа ума ждать, самим пора бы все знать да и других научать. Ну да уж давайте, делать нечего.

Девки с удовольствием расступились, пустили Федосевну на почетное место, в передний угол, и смотрели ей в глаза.

Федосевна уселась, спросила блюдо, хлеба, соли и угля и принялась устраивать подблюдные песни.

Приказания Федосевны исполнялись точно и беспрекословно. Все, что Федосевна делала, было проникнуто какою-то торжественностью, обрядностью. Она делала свое дело с твердою уверенностью знания, спокойное лицо ее приняло несколько важное, озабоченное выражение, и в нем была видна твердая и полная вера. В поданное блюдо, звеня, падали медные кольца и серьги, потом закрыли блюдо и под их мерный звяк тонкие и дружные голоса протяжно, торжественно запели «Славу». И славили они «Бога на небе», «государя нашего на сей земле», и славили они Русь святую, и чтоб правда была на святой Руси, славили ее реки вольные, чтоб большим рекам слава неслась до моря, малым речкам – до мельницы, и хлебу песни поют, хлебу честь воздают. И потом: «Покатилось зерно по бархату», и «Идет кузнец из кузницы», и «Летит сокол по улице», и «Поскакал груздок по ельничку» и прочее.

Долго пелись эти песни, и, смотря по тому, что сулило будущее каждой девушке, лицо ее веселело или задумывалось. Если девушки не знали значения которой-нибудь из песен, они обращались к тетке Федосевне, и Федосевна разрешала их недоумения, сказывала счастье счастливой, утешала несчастливую.

Хорошая песня выпала на долю Дуни.

– Быть тебе нонишний год замужем беспрерменно, вышла на долю ровня счастливая, – сказала Федосевна. – Гоже тебе, что вышла ровня, – и через золото слезы льются, мать моя!

Дуня осталась довольна, а Антипка из угла посмотрел на нее, хотел что-то сказать, да только крякнул.

Но не такова была доля Васены. Золото и жемчуг и камни самоцветные вышли ей в песне, но песня эта имела неопределенное значение. Одни говорили, что к богатству, другие – что к несчастью.

– Растолкуй, тетка Федосевна, – сказала Васена, и светлые глаза ее беспокойно ждали ответа.

– А много значит эта песня, девка, много разного значит: али богатство большое, али что недоброе... А попросту, девка, по моему разуму: нет еще нонишний год никакой тебе судьбы... Ну да молода еще ты, мать моя, и подождешь: годик еще, чай, семнадцатый?

– Шестнадцатый, – сказала Васена.

– Что ж, и постарше тебя есть, да ждут Божьей благодати...

Одно кольцо осталось только в блюде и одиноко звякало. Было около полуночи. Федосевна, а с ней и девки встали и начали собираться по домам.

– А чье кольцо осталось? – спросила Федосевна.

– Мое! – отвечала девка высокая, бледная и уж не первой молодости.

– Экая ты бесталанная! – сказала с участием Федосевна. – Не выходит те-е судьба твоя! А можно узнать ее, мать моя, – сказала она тихо. – Возьми ты это кольцо и хлебец возьми, и ступай ты в полночь в овин или в баню – слушать.

– Не надоть, – отвечала девка грустно и равнодушно, – я свою участь знаю.

Федосевна прищурилась, поглядела на нее и спросила тихо:

– Смотрела?

– Смотрела, – так же тихо отвечала девка.

– Видела?

– Видела, – отвечала она.

Гурьбой вышли девки и парни из избы, и вскоре говор их послышался за воротами, разбрелся по деревне и мало-помалу замолк. Васену оставила Дуня ночевать у себя, оттого что далеко ей идти было. Они хотели уж ложиться спать, как вдруг дверь отворилась, и Федосевна поманила их. Они вышли в сени.

– Нарочно, голубки, воротилась для вас, – сказала Федосевна. – Вы девки молодые, ничего не знаете, а при людях не след мне вам было говорить. Хотите попытать судьбу свою и узнать все вдосталь, наверное?

– Как же это, тетя? – шепотом говорили они.

– А много случаев есть. В бане сидеть хотите?

– Вместе?

– Коли вместе, вместе ничего не будет.

– Боюсь, – сказала Дуня.

Федосевна посмотрела вопросительно на Васену.

– И я боюсь, – нерешительно сказала она.

– Не в бабушку ты, видно, пошла, – сказала Федосевна. – Та, не к ночи молвить, и пострашней не боится.

– Что те-е баушка! – сказала с упреком Васена.

– Ну, да я так только, к слову пришлось. А ты девка добрая. Так что же, матери мои, на перекресток с зеркальцем тоже боитесь?

Девки задумались.

– Ну так я вам вот что скажу: это дело не страшное, а верное, и сегодня день такой. Выйдите вы в полночь за ворота, и зажмурьтесь вы и повернитесь три раза, коя как встанет, и взгляните вы на небо, и коль увидит коя стожары на правой руке – и быть той замужем, а коль увидит коя девичьи зори – годовать той в девках беспрременно. Ну, прощайте, красные, спать пора...

– Спасибо те, Федосевна! – сказали девки. Федосевна ушла, и девки воротились в избу. Около полуночи в одном углу темной избы послышался шепот, тихо встали обе девки, накинули на плечи шубенки, которыми были одеты, и вышли. На дворе было темно, месяц уж закатился, но тем ярче и виднее на синем небе блестели и мерцали крупные и мелкие звезды. Дуня и Васена вышли за ворота, постояли недолго и, говоря о чем-то вполголоса, возвращались. Вдруг в сенях кто-то остановил Васену за руку.

– Что, Васена, видела? – тихо спросил кто-то.

– Пусти, Федюха! – отвечала она.

– Да что?

– Плохо!

– А ты, Дуня? – робко сказал другой голос.

– Антипка, ты как здесь?

– Я остался у крестного. Что, Дуня?

– Гоже! А те-е что за дело?

Неизвестно, что отвечал ей Антипка, только она вдруг рванулась сердито и прикрикнула: «Ну-у! Мотри ты у меня!» – и обе девки проскользнули в дверь и тихонько улеглись на лавке.

\* \* \*

Я не знаю, как обозначать время в этом странном уголке, где нет ни лет, ни месяцев, ни чисел. Знаю только, что вскоре после описанных происшествий, раз утром, когда солнце только что вставало над деревушкой и над каждой избой, точно белые султаны, высоко-высоко в небо подымались и стали, не шелохнувшись, прямые и ровные столбы дыма, какой-то крестьянин, только что проснувшись, вышел в одной рубахе на крыльцо и, почувствовав сильнейший мороз, флегматически заметил: «Трещи не трещи, а минули водокреци». Знаю, что были потом, как следует, морозы афанасьевские, за ними тимофеевские и, наконец, последние, сретенские. Вот пришли и капельники, и плюшники, начались с сороков сорок утреников. Алексей – с гор потоки пролил, Дарья испортила проруби, пришли на Марью пустые щи, и вот Федул – теплый ветер подул, и весна землю испарила. Тогда, стряхнув с себя снег и солому, бодрее выглянули на теплое солнышко темные избушки, яснее обозначилась одна из них, отшатнувшаяся к полю и лесу, на стражу каменных развалин. Теперь пора сказать, кто были ее жильцы.

Давно, очень давно тому назад, когда ветер не сорвал еще крыши и ставней с каменного дома, а стоял он просто заколоченный, жил в новой избе, заслоненной этим домом от вьюги и непогоды, некто Терентий Бодяга, отчасти садовник, а больше коновал, искалеченный лошадьми, которых он пользовал, и оставленный за увечьем сторожем при доме. Жил Бодяга с женой своей, Никоновной, и дочкой Ариной, и жил довольно долго. Время шло, дом разваливался и входил в землю, Бодяга вошел в нее окончательно, зато у дочери его Арины, словно из земли, выросла дочь Василиса. В один прекрасный день девица Арина неизвестно куда отлучилась, и с тех пор прошло много дней, и прекрасных, и дурных, но Арина не возвращалась, и осталась в избушке одна бабушка Никоновна с внучкой Василисой, или, как ее звали в деревне, Васеной. И жили они хоть и не в довольстве, но и без большой нужды, а чем жили – никто не знал: сберег ли и оставил деньгу про черный день коновал Бодяга, старуха ли его Никоновна добывала ее своим ремеслом – неизвестно, но недобрые слухи ходили в маленьком мире сельца Ознобиха про Никоновну и ремесло ее. А ремесло это состояло в лечении разных недугов разными средствами – травами и нашептываньем, и говорили про старуху, что нечисто ремесло ее, что водит она знакомство с личностями более или менее невидимыми в крещеном мире и что иногда в глухую ночь совершает она дальние путешествия при помощи метлы, выезжая на ней в дымовую трубу.

Нельзя заверить в том, чего не знаешь наверное, но действительно странен и страшен был вид дряхлой старухи, когда она в бурю и непогодь шла иногда, согнувшись над клюкою, в поздние сумерки из темного леса, несла пучки каких-то трав, шла тихо, тряся старческой головой, и все что-то шептала, что-то шептала.

Когда грозила кому-нибудь напасть близкая, когда что недоброе творилось в семье или недуг злой и непонятный медленно грыз и изводил кого, тогда, полные сознания в силе и убежденные в сведениях Никоновны, вечером с узелком в руках пробирались задами к ней люди нуждающиеся, и хоть старуха была ворчлива и неприветлива, но помогала многим своим таинственным знанием. Несмотря на это, косо смотрел деревенский люд на старуху, хотя и боялся ее, боялся ее глаза впалого и черного, боялся ее шепота, никому не понятного, боялся, чуждался и не любил ее. И из всего большого и меньшого люда Ознобихи только одна Васена, смуглая и хорошенькая девочка, долго бегавшая в одной рубашонке, не боялась старухи: умаившись днем, она доверчиво припадала русой головкой к чахлой и хрипящей груди старухи и сладко засыпала под ее таинственный шепот.

Время шло. Старуха Никоновна, словно замороженная от его власти, все оставалась такой же старухой Никоновной, все таскалась в лес за травами и шептала. Но Васена выросла, выровнялась и из хорошенькой девчонки сделалась хорошенькой девушкой, и шире раздвинулся перед ней маленький мир, раздвинулся из четырех стен избышки во все пространство селца Ознобиха.

Красота и молодость сняли с нее недобрую славу, тяготевшую над ее родною кровлей; молча, косясь, приняли ее деревенские девки в свой тесный кружок, и из них Дуня, ее сверстница, сделалась даже ее подругой.

В тот неизвестный год, когда воображение занесло нас в Ознобиху, грачи прилетели прямо на гнезда и весна была дружная. Она пришла рано и, может быть, поторопилась оттого, что на Красную горку ее дружно закликали девки:

Весна, весна красная!  
Приди, весна, с радостью,  
С великою милостью!  
И пришла она для мужиков  
На сошенке, на бороночке,  
А для девок с веселыми хороводами.

Вечером, перед закатом солнца, подоив коров и загнав скотину, собирались девки и парни на лугу у околицы, неподалеку от Федосевниной избы, и затевали игры. Завидя их, выплывала своей утиной походкой и сама Федосевна. Тогда девки и парни приставали к ней, и она, поломавшись малую толику, принимала участие в их играх, и игры эти шли стройней и веселее: то входила Федосевна в круг, садилась и дрему дремала, а меж тем, сцепясь рука с рукою, медленно ходил под лад тихой песни пестрый кружок молодежи; то, сходясь и расходясь стена с стеною, они просо сеяли, то заплетались плетнем, то спрашивали друг у друга новости.

Спрашивали молодые бабы у старых: что в городе вздорожало? И отвечали старые:

Вздорожали молодые бабы:  
На овсяной блин по три бабы,  
А четвертая провожата,  
А пятая на придачу.

Спрашивали ли о том же молодые парни, отвечали им молодые бабы:

Вздорожали добрые молодцы:  
По восьми молодцов на полденьги,  
А девятый провожатый,  
А десятый на придачу.

Спрашивали ли девки у добрых молодцев: что вздешевело? Добрые молодцы отвечали:

Вздешевели красны девушки:  
По сту рублей красна девица,  
А по тысяче девице на косицу.

Но чаще в замкнутый круг входили мужчина и женщина, тут разыгрывались простые сцены простой ежедневной жизни: ревнивый муж жену ревновал, жена ругала мужа-пьяницу, и горько жаловалась иная молодка на сноху или свекровь.

Только странно как-то случалось, что, коль нужно было выходить парню с девкой, выходили большею частью одни и те же пары, и из наших знакомых часто выходили Васена с Федюшкой и Антип с Дуней. Говорил парень девке: «Бог на помочь, красна девица», а красна девица гордо проходила мимо и ему не кланялась, и тогда, надев шапку набекрень, приосанившись, грозил парень девке заслать сватьев и за себя взять, и будет тогда девка у кровати стоять, будет белы руки целовать, будет девка держать шелкову плетку в руках. Смирялась гордая девка и, потупясь, отвечала:

Я думала, что не ты идешь,  
Не ты идешь, не мне кланяешься.

Хоровод, тихо снуя, пел в кругу, молча разыгрывалась простая драма, а между тем солнце давно уж село, вот и месяц показался на небе, седой туман вставал густой тучей и ложился холодной росой, а в лесу кто-то странно то стонал, то хохотал. Торопливо расходились девки по домам, и тогда по узкой тропинке пробиралась в свою избушку Васена, и часто Дуня провожала ее, и за их мелькающими и размахивающими в темноте белыми рукавами виднелись две какие-то темные фигуры в смурых кафтанах.

\* \* \*

Известное дело: лягушка квачет – овес скачет, на Петров день солнце поворотило на зиму – лето на жары, пришла убогая вдовица-купальница – и наступил сенозарник<sup>26</sup> – лета макушка. Сбил он у мужика мужицкую спесь, что некогда и на печь лезть; и баба бы плясала, да макушка лета настала; а все это оттого, что на дворе пусто, зато в поле густо, и это широкое поле, густое желтым хлебом и зеленой травой, надо было сжать и скосить.

И вот однажды почти весь женский люд деревни Ознобихи возвращался с покоса. Дни перед тем стояли жаркие и ведреные, много рядов подкошенного сена полосами лежало на лугу и быстро высыхало, надо было убрать его до дождя, а дождь был на носу. С утра облака ниже и ниже начали собираться на небе; завидев их, быстрее закипела крестьянская работа, и вот, еще задолго до заката, мужикам оставалось только дOMETать и свершить стога, а бабы, собрав и свозив сено, торопились до дождя к домам, и они шли пестрою гурьбою с граблями на плечах и звонкой песнею, а между тем небо все темнело и темнело, густые сизые тучи почти сплошь заволокли его, в спертом воздухе становилось уж не жарко, а нестерпимо душно.

«Быть грозе, того и гляди!» – подумали бабы, торопливо прибавили шагу – и песня замолкла.

И как будто вместе с песнью замолкло все в природе: лист не шевелился на дереве, птица не щебетала в воздухе, и стала кругом непробудная тишь, и страшно что-то стало на сердце... Но деревня уж недалече. Вон перелесок, вдоль его опушки на белой лошади какой-то охотник пробирается рысцой к дому, теперь только поворотить направо и по задам прямо в деревню, ее еще не видно за кустами, но вдали, на сером грунте потемневшего и грозно нахмурившегося леса, уж виден голый остов каменного дома, и возле него маленькая избушка Никоновны, как будто присевшая от страха, стоит скривленная и тщедушная, робко глядит чуть видными окнами и ждет грозы...

Вдруг... Что это? Что это?

В воздухе показался красноватый свет, но это не свет молнии. Все головы запрокинулись разом и видят: летит над ними огненный шар, летит медленно от Чертова болота, широко разметав свой огненный хвост... Тихо летит в густом неподвижном воздухе, среди грозной

---

<sup>26</sup> Сенозарник — июль.

тишины, спускается ниже и ниже и с треском и искрами рассыпается над трубой избушки... Обомлела толпа и стала как вкопанная, и в молчаливом ужасе переглядывались бледные лица.

– Змей огненный! – пронеслось по толпе.

– К Никоновне, – тихо сказал кто-то.

– Нет!

Недавно видели, как Никоновна, опираясь на палку, трясаясь и шепча, плелась к лесу.

– К Васене! – еще тише сказал кто-то, и угрюмое молчание толпы подтвердило страшный приговор бедной девушке.

Гром зарокотал над лесом, крупные капли дождя начали падать, толпа повернула в пролесок и, крестясь и запыхаясь, бежала по домам, и только слышен был говор: «К Васене! К Васене!»

А между тем что делала бедная Васена?

Проводив бабушку, которую не пыталась отговаривать идти в лес, потому что знала бесполезность попытки, знала, что есть у нее неизменный день и неизменный час для сбора той или другой травы и что не много может непогодь над ее окостеневшим телом, Васена отворила окошко, села у него с чулком и тихо запела песенку. Не знаю, что пела она, но перелив ее длинной песни был спокоен и безмятежен. Правда, была какая-то затаенная грусть в ее напеве, но грусть без тоски и печали – это ровная и тихая грусть русской песни, в которой отразилась вся неизбежная ровная и тихая грусть целой жизни.

И пела Васена свою песню, о чем-то раздумывая, как она привыкла раздумывать в длинные дни одинокой жизни, пела она, как поют птицы вольные да молодость беззаботная, оттого только, что им просто поется, и не видала Васена грозы, которая собиралась над нею, грозы в воздухе, и не чувала сердцем другой, более страшной грозы, а между тем та и другая собирались молча. И вот стало темно и душно, и вот что-то сверкнуло в воздухе, треск послышался над головою Васены, и серный запах разлился по избушке, искры блеснули кругом, и едва успела Васена отскочить от окошка, едва, бледная от страха, занесла она руку, чтоб оградить себя крестным знаменем, – глядь, прямо перед нею стоит какой-то красавец...

\* \* \*

Когда в следующее воскресенье собрались девки и парни, по обыкновению, к околице, супротив Федосевниной избенки, уж не хоровод водить, потому что их пора миновала, а просто поиграть в горелки, под вечер пришла туда и Васена. Она была далеко лучше, чем в первый раз, когда мы ее видели зимою. Умывалась ли она мартовским снегом, вешней росой или первым дождиком, дала ли ей какого-нибудь снадобья ее бабушка, или сама мать-природа, щедрая летом, убрав лес зеленою листвою, луг пестрыми цветами, наделила Васену полною красой. И Васена развернулась, как почка на дереве, расцвела, как цветок в поле. Ее гибкий и стройный стан стал мягче, обрисовался круглее, мало коснулся загар лица ее, но румянец на смуглых щеках играл и пробивался сильнее, полевая работа не огрубила тела ее, как она огрубила и зачернила ее белоликих подруг, – лучше всех по деревне стала Васена, лучше стала и наряднее, а между тем – смотрите! – только подошла она к играющим, и как-то затих их говор и смех, поклонилась она – ей никто не кланяется, робко сторонятся от нее подруги, неохотно парни играют с ней, и самая игра скоро прекратилась. Как будто что-то связывало и стесняло ее беззаботное веселье. Заметила это и Васена, заметила и сама смутилась, и сама стала в сторону.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.